



СОЛОВЕЙ-КЛЮЧ

Сборник стихотворений Александра Куликова

Издатели:

Общественная организация «Dzejnieku klubs Stihī.lv»

(Рига, Латвия)

и Издательство «АураИнфо»

(Санкт-Петербург, Россия)



Литературная серия «КНИЖНАЯ ПОЛКА ПОЭТА»

Руководитель проекта:

Евгений Орлов

Обложка:

Нильс Хальгерсон

Макет и оформление:

Татьяна Громова

В оформлении обложки

использована картина Джона Кудрявцева

Поэтический сборник Александра Куликова «Соловей-ключ» продолжает серию «Книжная полка поэта». Книга издана в качестве Приза лауреату Международного литературного конкурса «Открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии - 2015» (портал stihī.lv) в номинации «Литературная премия имени Владимира Таблера».

© Александр Куликов

© Нильс Хальгерсон – обложка серии

© Татьяна Громова – макет и оформление

© Александр Ситницкий – предисловие

© Евгений Орлов – печатная версия и литературная серия

ISBN 978-9934-8556-0-3

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

СОЛОВЕЙ-КЛЮЧ
СТИХИ

Моим любимым женщинам Любе, Вере, Але

О ПОЭТЕ КУЛИКОВЕ, ДОЖДЯХ, ГРОЗАХ И ОТКРОВЕНИЯХ

Русская поэзия не избалована явлениям гениев после смерти последнего в 1996 году, но разбалована присутствием превосходных поэтов, появившихся за этот период, начинавших лет 20-30 тому назад. Если в прошлом веке весть о явлении Поэта могла доползти на перекладных с четвертой копией машинописного текста от Петербурга до Москвы дней за пять, то сегодня Интернет доставляет ее за секунды даже до Тихого океана. Но остается неуслышанной гораздо чаще, чем тогда. Каждый раз, открывая новое имя в русской поэзии, поневоле задаешься вопросом: «Он ли, ожидаемый?» ... Перед нами книга, изданная благодаря одному из многочисленных конкурсов, и тиражом 35 экземпляров, как во времена, когда тщательно переписанная монахами летопись ценилась на вес золота. Прислушаемся к этой книге, как к вести.

Подробности биографии поэта А. Куликова нам неизвестны, кроме собственно стихов. Возможно, это и лучше, биография не будет мешать, выступая в качестве еще одного жития святого, ибо, скорее всего, жизнь этого поэта ничем не примечательна, как жизнь Р. Фроста или А. Фета. Живет на самой на окраине, в провинции у моря или океана, по основной (или не

основной) профессии — журналист. Пронзительный лирик, почти все стихи о любви к земле, к каждой улице или окраине родного города или Вселенной. И событий там происходит очень много, даже когда просто идет дождь.

Но если уж идет, косою или прямою, то превращается в действие сакральное. Пусть и языческое:

И уже звенят кимвалы,
и уже гремят литавры!
И приплясывают каллы
у крыльца, как лаутары.

Но вот:

Когда поэт стихов не пишет,
мир забывает не о нем —
о том, что дождь утюжит крыши
и все расплывчато кругом...

пишет Куликов, и в мире начинает проясняться.

Поэт сочиняет в традиционной манере и владеет всеми жанрами, разве что еще не написал поэму, хотя, вероятно, она появится, поскольку многие стихи представлены циклами, объединенными темой и сюжетом, да и стихи «О Толе Кольцове» или «Рэндзю на тему стихов Роберта Блая» уже, пожалуй, и поэмы. Куликов владеет всей поэтической техникой, созданной до него, и весьма виртуозно. Ну кто может сейчас написать балладу в духе Орлеанского и Вийона? А он запросто. Подвластны ему и все стили — от позднеромантического, эпохи преодоления соцреализма, до модерна. Метафоры его свежи и увлекательны. И,

конечно, звук его поэзии прозрачен, и гласных там больше, чем согласных. Тут ценителя фонетики ожидает пиршество духа и уха.

Вдруг парень у меня бесстрастно,
переключив устройство речи,
спросил с растягиваньем гласных...

Если пересчитать гласные и согласные в этих трех строчках, то, конечно, согласных здесь больше, но очевидно, что поэт понимает, как сделать речь благозвучной.

Если же так случится, что его поэзия все-таки пройдет, как косой дождь, не замеченной современниками, то будущие археологи от восхищенной филологии, раскопав в каком-то там веке эту книгу, обнаружат два слоя. Один — поэзия типичная, высокопрофессиональная, сродни той, что печаталась сравнительно беспрепятственно при жизни Самойлова или Левитанского, Межирова или Слуцкого, и второй, более поздний, — стихи, которые бы расходились в списках в те времена. Или, другими словами, стихи первого периода могли бы сегодня написать все первостепенные советские поэты, родись они в поколении Куликова.

Например, эти, можно сказать, вполне традиционно классические:

О смерти поэзии как-то и где-то
поведали мне молодые поэты.
Я слушал с улыбкой дурные слова...
Поэзия, милые, вечно жива.

Она ведь бывает не только в сонетах.
Она учреждалась не властью Советов.
Она существует, как лес и трава.
Поэзия, милые, вечно жива.

Она существует как Бог и природа.
Она из явлений подобного рода.
Поэт под забором однажды умрет.
Поэзия, милые, вечно живет.

Бога, конечно, редакторы прошлого вычеркнули бы...

В книге стихи не датированы, и, возможно, расположены в произвольном порядке, но и современнику можно заметить два упомянутых уровня или периода поэзии Куликова. Мы бы назвали первый «Какое счастье жить в России».

Какое счастье жить в России,
В машине ехать по шоссе.
Кругом поля во всей красе
Снегов. В наушниках – Россини.

Вот арабеска, техника повторяющегося орнамента, и в частности дождя, здесь – грозы:

И нет нам покоя, и лают собаки, и косо
Грозой перечеркнутый бьется в истерике сад,
И мечутся птицы, и мечутся, простоволосы,
Ракиты, и в омут багровые листья летят.

Тут слышна и песня «погоня, погоня в горячей крови», и экспрессия Пастернака в его все еще не зачеркнутых временем садах, вечный орнамент русской поэзии.

Но сосредоточимся на втором периоде — «Какое счастье жить в мировой культуре». В

том же стихотворении, откуда приведена цитата о смерти поэзии, появляется иной замысел, непосредственно связанный с Россини, а не с Мусоргским, сочинившим «Хованщину», или с Глинкой — «Жизнь за Царя». Тем более что сам поэт называет в числе любимых — француза Мессиана, поляка Пендерецкого, русского Стравинского, модернистов, и каким-то непостижимым нам образом начинает строить стихи по принципам симфоническим.

Но, как философ и историк,
разоблачающий обманы,
я говорю, что это — море,
часть мирового Океана...

С этой мыслью и писали все великие русские поэты, тоже философы и историки, да и не только великие, пребывая в культуре мировой, о ней не тоскуя, в патриотизме, ограниченном границами всей цивилизации, а не ее окраин, или даже когда поглядывали на Восток, сочиняя стилизованные хайку, как одна из этого сборника:

сладкая дыня —
два ковчега Ноевых
после крушенья

А ведь это чистый тебе постмодерн! Разве возможен Ковчег в Японии? А выше было заявлено о традиционной манере стихосложения Куликова... Впрочем, наверно это влияние Транстрёмера на поэта. Его он тоже читал. Да и сам бог велел поглядывать на Японию, рукой ведь подать из Владивостока.

*И вот в стихах «Облака над Второй речкой»,
— кажется, опять пойдет дождь, как часто
случается в поэзии Куликова — появляются*

висячие сады Семирамиды,
отстроенный вторично Вавилон

а также —

...Палестина,
Танжер, Алжир, Шираз и Тегеран
и уж, конечно, Мекка и Медина.

Поэзия выходит на уровень мировой культуры словесности, покидая географию. Можно догадаться, что автор ее внимательно читает зарубежную поэзию, как раньше отечественную, потом это станет видно и по стихам. Чуть раньше Бродский в Норенской так же внимательно читает Донна и Одена, становясь великим поэтом. Наш поэт тоже читает Одена:

Из Одена

Вот и осень, как нянины сказки,
Неизбежно подходит к концу.
Как там? «Прочь покатались коляски»?
Ну а здесь? Прикатились к крыльцу...

Кажется, такой строчки у Одена нет, скорее всего, это какие-то ассоциации к Похоронному Блюзу, да и няня, скорее, из Пушкина или Некрасова, но тут уже две культуры ищут общий язык. Помимо английского наш поэт знает португальский, и читает еще неизвестную русскому читателю поэзию Пессоа или Мануэла Бандейру. И теперь у нас есть возможность по

отголоскам судить об этой лакуне в переводной поэзии, как по стихам Бродского можно составить представление о метафизической школе Донна. Так или иначе, раздумывая над Пессоа, Куликов еще и читает «Первое послание Коринфянам», что современные поэты делают редко.

И появляются великолепные стихи, где листва ассоциируется со св. Франциском.

Но вот и лес, где ягодные низки,
где солнечные блики на листве
как пятна извести на рукаве
плаща, который на юнце Франциске.

Лучшего комплимента листве России сделать невозможно, ибо Франциск, как и Аквинский, это лучшее в европейской истории совсем не мрачного средневековья, скорее, ее катарсис.

Есть у Жозе Сарамаго, Нобелевского лауреата, стихотворение под названием «Смотри, Фома, твоя птица улетела прочь!».

Вот просто взяла и улетела. Неизвестно куда. Но явно куда-то.

Это ясно, как божий день, и еще яснее, чем божья ночь.

Остается догадываться, какая работа напряженной мысли поэта стоит за этими стихами. Но запомним эту «божью ночь», потом она появится в стихотворении «Павел в Коринфе», может быть, лучшим в удивительном библейском цикле.

А пока заметим необычные названия многих стихотворений – шадреш, арабески, (господи, со времен Гоголя, кажется так ни-

кто не говорил), катрены, офорты ... ну хоть понятно почему регтаймы, век джаза...

Вот что Куликов ответил однажды на вопрос, что такое шадреш :

Шадреш от португальского xadrez. Композиция каждого шадреша подобна шахматной партии. В шахматной партии есть внешний план — то, что происходит на доске. Но есть и внутренний — то, что остается за доской (несыгранные варианты, замыслы, скрытые угрозы и т.д.). В шадрешах события излагаются по такому же принципу — через ходы — сюжетные точки. Автор и читатель видят события неодинаково, поскольку у них не совпадают внутренние планы. То, что известно автору, не известно читателю. И наоборот.

Здесь Куликов, как говорится, приоткрывает творческую лабораторию, и понять ход его мысли трудно, но поэты потому и поэты, что мыслят иначе, чем читатели. Главное, что собственно в стихах шахматная партия сыграна вполне понятно. Что же касается совпадения планов... Читают стихи подобного уровня, чтобы присвоить события в жизни или воображении автора, совершенно не известные читателю досель. Что интересного в том, что уже и так знаешь... нам бы и в голову не пришло просчитывать строки или комбинации фигур речи, но вот о чем же там, в этом «Шадреше одной ночи», вызвавшем вопрос читателя? А там о прощении и спасении или о том, что ни прощением, ни спасением, ни утешениям поэзия не занимается.

А вот не спится отчего-то.
Не оттого же, что во мгле
бегут столбы, как жены Лота,
меняя тени на стекле?

В столб превратилась одна жена Лота на пути из гибнущего Содома, но в мире действительно много женщин. Наверно, именно с того все-таки и не спится. Поэзия ничего и не осуждает, хотя поэтам не спится, особенно, когда посетил сей мир в его минуты роковые, и ты участник событий, проходящих через сердце каждого, даже если сам не стреляешь. Вот стихи уже достойные хрестоматии литературы любой страны:

— А где отец? — Да на войне.
— Тогда я подожду, пожалуй.
— Да я разогреть устала.
Садись, поешь немного. — Не.
И поглядел в окно. В окне —
заросший двор, и там, у тына,
о чем-то явор и калина
все время шепчутся. — Ты сам
стрелял сегодня? — По кустам.
Так что душа моя невинна...

Впрочем, автору этих строк из всех шадрешей нравится больше всего «Шадреш предновогодний». Со времени написания «Горбунова и Горчакова» не приходилось встречать стихотворения-диалога. А ведь это крайне изысканное искусство. Что может быть лучше прямой речи и метафор о речи, как в стихотворении «Иванов, Семенов, Борменталь»:

Распластанный, голый, ничей, весь в наколках и швах.
Нишкните, глаголы! Здесь хватит наречия «швах».
А впрочем, а впрочем, забыв о наречии «жаль»,
«Живучий, ублюдок!» – промолвил хирург Борменталь.
Сказал, как отрезал ненужные метры кишки.
Спустился во двор, подбирая к ступенькам шажки.

Здесь примечательно, что в ряду фамилий последняя не противопоставлена двум первым, как в собственно в тексте повести, откуда этот Борменталь появился. Нет, конфликт переводится в иные сферы:

...но ангелы белые к ангелам черным гурьбой
уже подлетают, уже вызывают на бой...

Возможно, это отсылка к Тертуллиану или Иоанну Златоусту. В любом случае, события всем известные переводятся на уровень давно забытый, но куда мы следуем за поэзией подобного рода.

*И тут же прелестнейшие стихи, вывя-
занные искусными спицами мастера и тоже
с интертекстовой игрой, признаком поэзии
интеллектуальной (а мы помним, что поэт
это и «философ, и историк»), и на этот раз
нас отсылают к Мопассану, при этом психо-
логическая проработка образа этого самого
доктора Марешалья вполне достойна строк
цитируемой прозы. Этим искусством владел,
к примеру, великий английский поэт Т. Гарди.
Теперь встречается редко.*

Играет доктор Марешаль
в белот у друга,
а Марешальша вяжет шаль
и ждет супруга.

Мелькает крыльями амур,
а также спицы —
и здесь, и там сплошной ажур
у мастерицы....

Мы приближаемся к стихам, которые могли бы написать Ахматова, таким, как ее «Рахиль», или Пастернак — «Стихи к роману», или Бродский — «Исаак и Авраам» и «Сретенье», а именно к «библейскому» циклу нашего поэта. Собственно говоря, об этом цикле можно сочинить книгу объемом с предлагаемый читателю сборник, и, вероятно, она когда-нибудь появится, но мы ограничены объемом предисловия, и будем надеяться, что читатели сами оценят эти стихи.

Посему обратим внимание на самое заманчивое стихотворение цикла или даже всей книги — «Павел в Коринфе». Посмотрите, как здесь расцвели «Цветы Зла» французских символистов, но в совершенно иной эстетике и даже этике, подобное можно найти и в медовых стихах Мандельштама.

6

И только когда подошел, стало ясно,
В чем дело: устав от ярма и жары,
Пал вол, и стервятники выели мясо,
А солнце, скатившись с высокой горы,
Очистило кости, как терн от коры,
От гнойных остатков. И в этой колоде
Рой пчел поселился с заботой о меде.
Гудение их я и принял за стон.
Как будто, тоскуя в ярме по свободе,
Вол громко стонал, прежде чем умер он.

7

А это гудели рабочие пчелы,
В свой дом возвращаясь от зланных полей...
Уныние – грех. В этот час невеселый,
Ясон, не печалься о плоти своей.
Рабочие пчелы давно уже в ней –
Любовь, милосердие, вера, терпенье.
А боль... Что же боль? Знак иного рожденья.
Рожденья безгрешной сыновней души.
Мария стонала от боли, колени
Разжав, на соломе, в пещере, в глуши.

Воистину христианские стихи, не правда ли?

И вдруг, следуя за Савлом, превращающимся в Павла:

...Дело было не в нем.

А в том, что победная тьма за окном
И тьма в бедной комнате были едины
В тот миг, когда неба разверзлись глубины
И гром прогремел, как тогда, на пути
В Дамаск, когда, пав на осклизлую глину,
Он ползал, как червь, свет не в силах найти.

Это стихи о божественной природе темноты, ибо свет на земле недостижим, даже в откровениях, но вполне возможен в стихах, подобных «Павлу в Коринфе». Здесь мысль, посетившая гениального Блейка, что тьма отнюдь не дьявольской природы, и толстовская, что Павел, по сути, искажил учение Христа, как и вся построенная им Церковь. Да, собственно, Куликов говорит это без обиняков:

что из глубин холодных сфер
касается травинки каждой
не кто иной, как Люцифер,
пославший людям Караваджо.

Но именно в стихотворении «Караваджо», которое тоже является неотъемлемой частью «библейского» цикла, появляется мысль о божественной природе художника, и свет там ключевое слово:

5
Свет из растворенного окна,
За которым ветер ходит, вея,
Луч и жест, призвавшие Матфея,
Черного душой, как Сатана.
Свет, встающий плотно, как стена,
На пути осенней непогоды.
Свет, пронзивший тучи, будто воды
Иордана павшая Полынь.
Свет незамечаемых святынь,
На которые щедра природа.

А часто повторяемое в стихах Куликова «дело не в этом» совпадает с мышлением гениального Фроста, впервые нашедшего себе аналог в русской поэзии. Уже этого достаточно, чтобы числить по разряду выдающихся поэтов того, чьи стихи следуют за этим предисловием.

Александр Ситницкий, Сан-Франциско

ВЗРОСЛЫЙ МИР

Человек меняет города

Человек меняет города.
И переменял уже немало.
В жизни ничего важнее вокзалов
для него не будет никогда.

Стойка у буфета. Сайка, рыба,
кофе черный, плавленый сырок.
Сигарета. Кажется, «Дымок».
Не найдется огоньку? Спасибо.

А потом как дом родной — вагон.
И в купе, на верхней полке лежа,
засыпая, становясь моложе,
над полями пролетает он.

Над полями, поймами, жнивьем,
над Амуром или над Уралом
он летит, спеша начать сначала
жизнь вторую, третью день за днем...

За окном — огни, где город — гроздь,
выше — путеводная звезда.
Словно заколачивая гвозди,
трудятся ночные поезда.

Встречный поезд, промелькнувший быстро,
по инерции в ушах гремит,
города меняются людьми,
словно марками филателисты.

Начинает душа

Начинает душа расставание с телом,
тело — в черном печальном,
душа — в чем-то белом,
в чем-то полувоздушном и полупрозрачном.
Тело парится в паре едва ли не фрачной.
А душа расправляет усталые крылья, —
и под нею искрится ночная Севилья.
Тело знает все выбоины и канавки
(хорошо хоть не надо грязюкою чавкать),
что иного не будет теперь уж исхода, —
пусть с недельку такой остается погода.
И душа соглашается с этим охотно —
пусть с недельку погода останется летной.

Вильонская баллада

Над площадью царил воздушный шар,
садился ветер на рябые лужи,
слоились тучи, как печной нагар,
и был опять я никому не нужен,
к тому же болен: кажется, простужен, —
вдобавок то, что мы зовем душой,
хотело с кашлем вырваться наружу.
«Я отовсюду изгнан, всем чужой», —

В мозгу свербело. Начинался жар.
Мне мой озноб казался легкой стужей.
За мятый рубль я сел в воздушный шар,
ремень страховочный перетянув потуже.
И был я слаб, как будто безоружен
в момент опасности, один перед толпой.
Свербела мысль как не бывает хуже:
«Я отовсюду изгнан, всем чужой».

В прозрачный купол устремился пар,
а город становился ниже, уже,
разбросанный по сопкам, был он стар,
и неухожен, и уныл к тому же.
И мой подъем, рывками, неуклюжий,
стал плавным, словно в шахте лифтовой,
с презреньем к миру вырвалось наружу:
— Я отовсюду изгнан, всем чужой!

И этим криком будто обнаружен
задравшей кверху головы толпой,
царил в пространстве, отраженном в лужах,
я, отовсюду изгнан, всем чужой.

Человек устал спешить

Человек устал спешить
на работу и с работы,
в понедельник и в субботу,
утром, вечером и днем.

Что-то с ним и что-то в нем
происходит: или нервы,
или надоело первым
быть всегда и каждый раз.

Краснота усталых глаз,
ежедневная щетина —
вот обычная картина.
Человека что-то жаль...

Вот стоит он, смотрит в даль,
не желает в общей спешке
стать он чем-то вроде пешки,
жизнь отдавшей за ладью.

Вот стоит он на краю
бесконечной автострады,
словно просит Христа ради
никуда не подвозить.

Человек устал спешить...
Он задуматься желает,
отчего собака лает,
дует ветер, дождь идет.

Читая «Спун-ривер таймс»

Любовник пылкий, враг преград,
встающих на пути соитий,
ты помнишь тот ревущий сад,
где муж садовый ножик вытер
пучком краснеющей травы?
А ты, супруг, не знавший, прав ли,
запомнил миг, когда, увы,
сам понял, что женой отравлен?
А ты, неверная жена,
рыдающая за стеною, —
ты тоже выпила вина,
разбавленного беленою.
И тех, кто утром из газет
узнал об этом громком деле,
давным-давно на свете нет,
тела их медленно истлели.
Тот был игрок, — держа пари,
не удержался на карнизе.
Тот пил с друзьями до зари,
тот разрешил петлею кризис.
Тот был общественный кумир,
оратор, ратовавший смело, —
чтоб он покинул этот мир,
двенадцать пуль в него влетело.
Вот шулер. Уличен и бит.
Вот мальчик, утонувший в бочке.
Рыбак, бросавший динамит.
Поэт, не дописавший строчки.
Крестьянин мирный и солдат.

Врач и патологоанатом...
Вы помните ревущий сад
и что произошло тогда там?
Треск ножевой сухой грозы —
и ни дождевки, ни слезы.
Вино к обеду. Сам обед.
Аминь. Всё — суета сует.

Апокалипсис завтра

Слегка морозно, и костер малинов,
срывает ветер громкую листву,
и кажется, что гибель исполинов
мы видим в Юрском парке наяву.

Гудит не пламя, а кора земная,
на Севере проснувшийся ледник,
сверкающие бивни поднимая,
к нам скоро устремится напрямик.

Об этом знать испуганные птицы
должны, конечно, — он уже в пути!
Пора, пора и нам поторопиться,
и лишь деревьям некуда идти...

Им, глядя на костер притихший, ясно,
что мир и вправду замок на песке,
что свет, такой огромный и прекрасный,
как в лампочке, висит на волоске.

Письмо тому, кто не спит

Спи, мой милый, мой усталый,
не придет никто.
Я тебя укрою старым
драповым пальто.

У него в кармане правом
крошки табака.
Если это и отравы,
то совсем слегка.

Не беда, что был курильщик
и глотатель книг,
перед старостью — могильщик,
а потом старик.

Не беда, что как-то сгинул,
словно и не жил,
недочитанную книгу
словно отложил.

Словно, докурив, окинул
место наших драм,
словно докопал могилу
и остался там.

Когда человек кушает варенье

Вот человек пришел как весть
и в вашу дверь стучится.
Не весть о нем, а сам он здесь,
глядит на ваши лица.

Вы приглашаете его,
заводите беседу
и приглашаете его,
конечно же, к обеду.

И лишний ставите прибор
из лучшего сервиза.
И заставляет разговор
забыть про телевизор.

И проступают в сером дне
иные очертания.
И появляется в окне
рисунок мироздания.

А если начинает снег
высокое паренье,
то замолкает человек
и кушает варенье.

Все взрослого пугает

Все взрослого пугает:
кислотные дожди,
покупка попугая
и смерть принцессы Ди,
предвыборные толки,
соседей пересуд
и то, что люди — волки,
хоть не в лесу живут.
Пугает вид из окон
и прыщик на носу
и то, что одиноко
аукаться в лесу,
и то, что нету веры,
и то, что на мели.
Еще — цветы Бодлера
и Сальвадор Дали,
проникновенные стужи
за легкий коверкот
и отраженный в луже
бездонный небосвод.

Стихают разговоры
в тиши ночных квартир.
Задерживает шторы
пугливый
взрослый
мир.

Запах моря

Море вскрыто ледоколом,
словно банка с кока-колой.

Накрывается мгновенно
кромка льда ворчащей пеной.

И плывут вдоль борта льдины,
как затреленные мины.

Море вскрыто. Как вино,
вдоль бортов течет оно.

Недозревшие цунами
с недопитыми штормами.

А на сопках белый снег.
И прохожий человек
прячет нос в воротнике
(зря он вышел налегке).

Надо, надо, чтоб весна
поднялась с морского дна!
Чтоб за ней морские травы
потянулись слева, справа,
подрастая,
прорастая,
привлекая рыбы стаи,
чтобы травы-корневища
захватили скалы, днища...

И тогда, плывя на яхте,
мы воскликнем: «Морем пахнет!»

А пока на сопках снег
и прохожий человек,
пряча нос в воротнике,
ловит взглядом вдалеке
внеурочный синий цвет,
запаха у моря нет.

Когда поэт стихов не пишет

Когда поэт стихов не пишет,
мир забывает не о нем —
о том, что дождь уютит крыши
и все расплывчато кругом,
а утром солнечные капли,
мелькнув в стремительном пике,
как будто маленькие цапли,
танцуют в звонком желобке,
а мир хрустит своей газетой,
забыв о щебетанье птиц,
о том, что на исходе лето, —
осталось несколько страниц, —
о том, что все дается свыше,
не по труду, так по судьбе...

Когда поэт стихов не пишет,
мир забывает о себе.

Письмо в старинном стиле

Природа ваших чувств понятна мне:
так, взглядом охватив морские мили,
определяешь по одной волне,
чего бояться, шторма или штиля.

Так по лужайке солнечной идешь,
слегка тенями леса припорошен, —
и вдруг внезапно разорится дождь
на сотню-две припрятанных горошин.

И вот стою уже я в колпаке,
похожем на колпак шута отчасти, —
ножом, зажатым крепко в кулаке,
я мелко режу лук слезоточащий.

Но берегитесь: есть иная суть
в неторопливом нарезанье хлеба —
и нож тогда готов перечеркнуть,
как молния, безоблачное небо.

Еще вчера нам было жарко

Еще вчера нам было жарко
и мы любили сквозняки,
зубря порой аллеи парка
прилежней, чем ученики...

И вот сентябрь,
заядлый дачник,
не знавший, для чего отгул,
как нерешаемый задачник,
остаток лета пролистнул.

Дрожит листва.
И у прохожих
не попадает зуб на зуб.
А целый день себе дороже
подогревать то чай, то суп.

Геройски утром у постели
тепла заемный пай урвав,
мы
будто сосланы
на север
и лишены гражданских прав.

Как долго тянется зима

Как долго тянется зима.
Уже прошли весна и лето.
Уже и осень впопыхах
переоделась и раздета.

А все — начало декабря.
Начало гнета и печали,
попыток душу отогреть
за разговорами и чаем.

Как долго тянется зима.
Прошли и месяцы и годы.
Но лишь вчера последний лист
упал на медленные воды.

Когда еще случится нам
пройтись в распахнутых бекешах
по площадям, где талый снег
с песком и солью перемешан.

Когда еще плеснет в глаза
ультрамариновой фиалкой!
Как долго тянется зима
и как недолгой жизни жалко...

Песенка для белошвеек

Все деревья и скамейки,
Все, что видишь ты вокруг,
обшивают белошвейки
и не покладают рук.

Дело их настолько тонко,
что тревожно за него, —
шить на всех, как на ребенка,
на ребенка своего.

Шейте же, не зная спешки,
не жалея полотна,
белошвейки, белоснежки,
под волчок веретена.

Все дороги и овраги,
все, что видишь ты, дружок
(ну, хотя бы в полушаге), —
все обшито точно в срок.

Белоснежные обновки
сами падают с небес
на толпу у остановки
и на пригородный лес,

и на крылья Серой Шейки,
и на крылья «жигулят».
Белоснежки, белошвейки
обшивают всех подряд.

Письмо Владимиру Тыцких

А в городе умели зимовать.
Готовили и катанки и санки.
До лета прекращали перебранки.
Топили печи. И смеркалось в пять.

Лопатою сгребали снег с крыльца,
дорогу пробивали до калитки.
Под Новый Год писали всем открытки
и сами получали без конца.

А вечером, когда ложилась тьма
на снежные волнистые барханы,
светились черно-белые экраны
и раскрывались пухлые тома.

Еще в лото играли, в дурачка,
любили чай в сопровожденье пышек,
и в тишине под щелканье дровишек
любили слушать пение сверчка.

А как болели! Изгоняя жар
сухой малиной и гречишным медом.
Качались: дом напротив — пароходом,
И солнце в небе — как воздушный шар.

И вдруг случайно замечали мы,
что там, где тени на снегу чернели,
теперь, как будто ворох канители,
шуршат ручьи, а, значит, нет зимы,

что две сороки дружно гомонят
и ссорятся на ветке из-за ветки,
что от души ругаются соседки
и дворник, щурясь, курит самосад.

**Разговор с камнем, улиткой, песком,
рыбой и яблоком**

Камень сказал мне:

— Три дороги у нас.

Три дороги.

Всего три дороги.

Улитка сказала:

— По какой ни тащись —

тащи

весь дом на себе.

Песок прошептал:

— Столько невзгод,

сколько песчинок несметных.

А рыба сказала:

— Молчи

и не жалуйся, бедный.

А яблоко так говорило:

— Либо съедену быть,

либо завянуть

на старости лет.

Так говорили со мною камень, улитка,
песок, рыба и яблоко.

На смерть поэта

Юрий Левитанский умер в 1996 году от инфаркта. Удар случился во время писательского собрания, где спорили о Чеченской войне. Он был против. Он был единственным лауреатом, сказавшим об этом президенту Ельцину, когда получал в Кремле Государственную премию за книгу «Белые стихи» (1991 год)...

Ну, что с того, что я там был,
в том грозном быть или не быть.

Ю. Левитанский

Ну, что с того, что он там не был,
в том Грозном. «Быть или не быть?» —
ни у Бориса, ни у Глеба
не спрашивали. В этом — нить
событий. Тучка ночевала.
Крошился штык. Ломался нож.
Он в молодости, для начала,
на Лермонтова был похож.

Летела пуля золотая
через заставы Шамиля,
из ночи в день, который таял
у стен державного Кремля.
Летела, глупая, шальная,
через овраги и поля.

За ней, свистя, смыкалось небо,
гремело грозами в Чечне...

Ну, что с того, что он там не был,
поэт, погибший на войне?

Море по-латышски называется юра...

Ю. Левитанский

А поэт, когда он стих,
словно море после бури,
ничего, что праздно курит, —
он работал за троих.

За себя, искатель блох,
за стихию, кормчий слова,
а еще — опять и снова —
за того, чье имя — Бог.

Ибо мир, такой-сякой,
сволочной в своей основе,
держится на честном слове,
на одном лишь честном слове,
прямо сказанном тобой.

**Латышские мотивы, или
Неотправленные письма Клаву Элсбергу
(триптих)**

1

Туман вдоль берега морского
сопровождает электричку,
традиционного Лескова
ищу вчерашнюю страничку.

Напротив парень что-то хочет
от девушки с короткой стрижкой,
и то, на чем они лопочут,
скорей всего, язык латышский.

В окне — унылая картина:
туман колышется над морем,
как постаревшая гардина
с намоченною бахромою.

Вдруг парень у меня бесстрастно,
переключив устройство речи,
спросил с растягиваньем гласных:
«А как названье этой речки?»

И вправду, словно скалы, грузен,
густея и мерцая тускло,
туман морское лоно сузил
до ширины речного русла.

Но, как философ и историк,
разоблачающий обманы,
я говорю, что это — море,
часть мирового Океана...

Потом нахлынули заботы
(так говорим мы по привычке),
но возвращался я с работы
домой опять на электричке.

С туманом разбирался ветер,
качался катер у причала...
Ах, я неправильно ответил!
И потому начнем сначала.

Туман вдоль берега морского
сопровождает электричку,
традиционного Лескова
ищу вчерашнюю страничку.

Напротив парень что-то хочет
от девушки с короткой стрижкой,
и то, на чем они лопочут,
скорей всего, язык латышский.

В окне — унылая картина:
туман колышется над морем,
как постаревшая гардина
с намоченною бахромою.

Вдруг парень у меня бесстрастно,
переключив устройство речи,
спросил с растягиваньем гласных:
«А как названье этой речки?»

И вправду, словно скалы, грузен,
густея и мерцая тускло,
туман морское лоно сузил
до ширины речного русла.

Но, как историк и философ,
который знает, что ответы
должны быть проще, чем вопросы,
я отвечаю просто: «Лета».

2

Из Клава Элсберга

Вот и почту принесли почему-то к ужину
как раков подали к столу посылку
с разбитыми мною сердцами
я увидел их мерцающее отраженье
отвернувшись к окну
фу гадость какая дрожь омерзенья
волною прошла по зарослям сирени
тикали часы и камин отвечал тих-тах
и надо же было ворошить прошлое

Психи ненормальные станешь тут счастливее
от подобных посылок

Войдя

Войдя во Дворец Одиночества
(нигде никого, все тихо),
потрепав по щеке милягу
каменного льва,
постепенно определяюсь: так я один?
В этом зале,
за этим столом. И больше никого:
ни прислуги, ни... ну и вечер, муть голубая!

Такие здесь стены и сцены такие:
вот ординарная бабочка
села на мраморный вьюнок,
и ей уже не взлететь с вязкой стены,
камень ненасытный ее поглощает.

Ну, что же, под каменным нёбом
одиноким, как бабочка,
пью из большого бокала
до половины — черт с ним, до дна!

Но что это? Зал становится бесконечен,
и жизни не хватит долететь до дверей.

Мотив Шукшина

И выскакивают мужики на середину комнаты
и — вприсядочку
да с коленцами,
посередке поп лапотит
сапожищами —
половицы гнутся,
еле-еле уворачива-
ются.

Руки крыльями — пусти,
жизнь толсто-
мясая!

Толсто-
мясая да толсто-
жопая.

И толь-
ко вверх глаза,
где ты ж, истина?
Ах, как жалко жись, холеру неу-
давшуюся.

Пок-
лоны бить —
сдуру лоб расшибить.
То-то дев-
ки, брат,
больше на
спи-
ну!

Эх-эх, младшой,
да не будь лапшой,
без царя в голове,
без гроша за душой!

...По снегу в валенках, в серых катанках,
что ни шаг, то скрип, скрип пронзительный.
Разрыдаться бы душе проспиртованной...
Да гори она, как спирт, синим пламенем!

Голова Риги

Рига ночью — точь-в-точь голова
с пробором мерцающей Даугавы,
на который ниспадают пряди мостов,
переходящие
 в лунном сиянье
 в запутанную седину улиц.

Густым гребешком грустных мыслей
хочу прикоснуться к тебе, о голова!

О моя Рига, не распутать, не расчесать
твоих каменных волос никакой расческой.

Только деревья,
мелькая за частой оградой сада,
словно меж двух половинок острых ножниц,
способны оттенить
зелеными, желтыми, красными и багровыми
цветами и оттенками
старинную строгость твоей седины.

Пусть в Пурвциемсе молодые деревья догоняют
каменные секвойи и баобабы.
Пусть тополей хлопотливые руки
перебирают фигурки уличных фонарей.

Зоологический сад

Это пони
маленькая серьезная лошадка
это ее тележка

утро колокольчик
день скрип колеса
вечер мартышка подсчитывающая выручку

полчаса до закрытия
а почки на деревьях все еще почки

был и я малышом с маленькой тележкой желаний
как вспомню
тепло нежности пробегает по стволу позвоночника
но всюду ограды и стены и потолки

за полчаса до закрытия
замру у вольера слонов
в ожидании первых зеленых побегов

древо желания
древом познания
вдруг ощущаю себя и все же
дай на прощание словно рогалик мартышке
одного-единственного каприза исполненье

вымахав чувствовать всей корневою системой
токи земные воды подземные
топот слонов муравьев позывные

Залве

Покой. Лишь оттиск дерева в реке
колеблется, как стрекоза в полете,
в чьих крыльях, как в оконном переплете,
мелькают параллельные миры.

И ты стоишь, пришелец параллельный,
стог сена, над замедленной рекой,
соображая, как назвать покой
на языке грозы позавчерашней.

Вечер

Погибшим морякам

За полосую отлива
светло-янтарный песок
чайки нетерпеливо
перекликаются на закате

Самый пронзительный крик
за можжевельник зацепится
словно тельняшки лоскут
треплется ветром треплется

Над полосую отлива
чайка настырная кружится
в куст можжевельный всматривается
к шепоту волн прислушивается

то озаряющихся вдохновением
то замирающих на полуслове
слушают как мелодия света беседует с душою
сквозь растопыренные пальцы
в потемках пепельных
когда землей угольки твоих глаз закидывают

Но в новой Вселенной
на новой Земле
наверняка найдется местечко
где будешь стоять
на волнистом лугу
охваченный молодыми побегами и листьями
зная что как только осенние ветры
раздуют сиплые меха
все что растет затрепещет займется
заполыхает на все лады

Вот отчего сегодня так зябнут руки мои
и сердце пульсирует
словно Вселенная перед взрывом

3

Я писал тебе, Клав, что мы виделись
первый и последний раз в жизни.
Ты отвечал, что жизнь большая
и что я ошибаюсь.
Ты прав.
Жизнь большая,
поэтому рано или поздно
я приду к тебе и скажу:
«Жизнь большая, Клав, вот мы и встретились».

Ты писал мне:

«Отчего Ты так уверен, что мы тогда,
год тому назад,

виделись в первый и в последний раз?

Я не столь мрачно настроен».

Конечно, там, где ангелов горный полет
над лугами, залитыми вечным сияньем,
какое может быть мрачное настроение?

Тем более что рано или поздно

я приду к тебе и скажу:

«Вот мы и встретились, Клав,

ветер переменился, и тучи рассеялись».

И мы опять заведем разговор о латышском лете,
таком тихом и спокойном,

что в нем тайфунов почти не бывает,
и я снова скажу, что Латвия — не Приморье,
что у вас тайфунов вообще не бывает,
и буду прав, однако...

Ты расскажешь, как на севере Латвии
прошел ураган, поднявший на небо
вот этот дом, в котором мы сейчас беседуем,
вон того теленка, которого сейчас

глядят ветры, южный и северный.

Ты писал мне:

«Передай поклон Любе. Пиши.

Я твои письма

жду больше,

нежели Тебе может показаться.

Спасибо за переводы и акrostих.

Уверен, что увидимся.

Когда-нибудь».

Когда-нибудь
наступит когда-нибудь.
Теперь я тоже уверен,
 что мы с тобою обязательно увидимся.
Рано или поздно я приду к тебе и скажу:
«Знаешь, Клав,
а ведь до тех пор, пока мне не сообщили
 о твоей смерти,
ЦЕЛЫЙ ГОД
ты был еще жив».

Осень изначальная

Осень звуков, далеких и близких.
Осень резко очерченных линий
и внушительных, как обелиски,
этажей над кустами калины.

Осень светло-карминных фасадов.
Осень темно-зеленого парка,
сортировки того, что не надо,
и того, что выбрасывать жалко.

Осень дворигов, за день прогретых,
и качелей, поющих, как лютни,
в павильонах повторного лета
где-то с трех до семи пополудни.

Дыханье осени

Дыханье осени. О теплом доме мысли...
О теплом доме... Слышно далеко,
как на ветвях шипят сухие листья,
как будто убегает молоко.

Осенний регтайм

1

Для счастья многого не надо.
Лишь неба синего просвет.
Лишь ожиданье листопада,
как ожиданье долгих лет.

Все впереди. И все в зачатке.
Как будто, отправляясь в путь,
осталось натянуть перчатки
и ветра зимнего вдохнуть.

Сверкает жесь. Темнеет в восемь.
И там, где светятся дома,
еще вдвоем зима и осень,
а впереди — одна зима.

2

Еще зеленая трава.
Уже бурьян и буреломы.
В осеннем парке деревья
приобретают цвет соломы.

И будто переходят в строй
простых строений и построек.
Как будто стали детворой
в пальто сезонного покроя.

Как будто все, как у людей.
Как будто каждая обновка,
из курток теток и дядей
перелицованная ловко.

3

Разложили дымные костры
дворники в малиновых жилетах.
Это выбиваются ковры,
полностью затоптанные летом.

Это разгребаются углы,
или антресоли, или ниши;
кое-где вскрываются полы,
где скрывались полевые мыши.

Это, разбирая антресоль,
зимние меха перетряхнули.
Это, словно лист осенний, моль
кружится над шубою на стуле.

4

Моя осенняя любовь
на день безветренный похожа.
Когда буквально в час любой
всю жизнь возможно подытожить.

Когда не жалко умереть
без исповеди и причастья.
Когда не будет больше впредь
такого праздника и счастья.

Когда бездомные коты
гуляют как во время марта.
Когда есть только я и ты
и ритм любовного азарта.

5

Листья палые, мертвые сплошь.
Ах, какое ужасное горе!
Ты по листья опавшим идешь,
как по волнам уснувшего моря.

Есть на свете такая страна,
где под солнцем, сухим и горячим,
утомленная солнцем стена
потемнела от долгого плача.

Там родился однажды Поэт
из разряда, каких не бывает,
но таких, что неведомый свет
в листьях мертвых от слов оживает.

6

Я раньше был красив, как бог,
особенно поближе к ночи,
и говорил, где только мог,
одну присловицу: «Короче...»

Теперь дается каждый шаг
с трудом, как будто я разутый.
Теперь я говорю: «Итак...»
и замолкаю на минуту.

Итак, короче, дело к ночи.
С трудом дается каждый шаг.
Я раньше говорил: «Короче...»
Теперь я говорю: «Итак...»

7

Как в жизни бывает нередко,
вдруг стоит мгновение дней.
И ты замечаешь и ветку,
и листья считаешь на ней.

И ты замечаешь, что ветер
деревья сгибает и гнет,
что солнце сквозь тучи не светит,
что тучи сверкают как лед,

что сыро, как будто в харчевне,
где старый потек керогаз.
Сегодня писатель О. Генри
напишет печальный рассказ.

8

Как беспросветно и зловеще
затянут серым небосвод!
В ответ на шерстяные вещи
зима холодная придет.

С холодной спесью постояльца,
когда на улице темно,
она сухой костяшкой пальца
три раза постучит в окно.

Стеклянным звоном отзовется
Вселенной каждый уголок,
где непогашенное Солнце
бросает тень на потолок.

9

Последний, может быть, в году
осенний дождь клюет лениво,
как будто птица какаду,
зернистый грунт под водосливом.

И слышно вдруг в ночной тиши
не летнее шуршанье листьев,
а то, как дождик заспешит,
внезапно все переосмыслив.

Ведь это все в последний раз.
И эта ночь. И эти звезды.
А все, что будет после нас,
по меньшей мере несерьезно.

10

Не мною сказано когда-то,
что лучше нет дороги той,
которой старые солдаты
на склоне лет идут домой.

Они идут, как иностранцы
среди неузнанных родных.
В прожженных похудевших ранцах
солдатский хлеб лежит у них.

Колеса мельниц на запрудах
вращают медленно закат,
и лишь деревья ниоткуда
не возвращаются назад.

11

И похолодало резко!
Словно тонкое стекло,
на куски с протяжным треском
вдруг рассыпалось тепло.

На куски и на осколки —
с хрустом лужи ледяной.
Стужи острые иголки
отдают голубизной.

Стужу до кровавых заед
мы жуем, как холодец.
Все на свете замерзает,
кроме любящих сердец.

12

Дома покинули улитки.
Одежду сбросил бедный лес.
На листьях бронзовые слитки
поставил ногу Ахиллес.

И там, где раньше еле слышно
кружились листья над тропой,
гремит и самый никудышный
под ахиллесовой пятой.

А парка обрывает нитку
в конце портняжного труда.
Что черепаху?! И улитку
ты не догонишь никогда.

13

О смерти поэзии как-то и где-то
поведали мне молодые поэты.
Я слушал с улыбкой дурные слова...
Поэзия, милые, вечно жива.

Она ведь бывает не только в сонетах.
Она учреждалась не властью Советов.
Она существует, как лес и трава.
Поэзия, милые, вечно жива.

Она существует как Бог и природа.
Она из явлений подобного рода.
Поэт под забором однажды умрет.
Поэзия, милые, вечно живет.

14

Деревья, в безлиственной кроне
зигзагами расположась,
красиво чернеют на склоне,
на землю почти что ложась.

Так будет зимою все время.
Так будет, наверно, всегда.
Душа моя — вечное бремя,
награда за все и беда.

Наверно, не будет другого
ни счастья, ни горя уже,
чем знать, что последнее слово
лежит у меня на душе.

1995 г.

Случайное желание

Не в электричку сесть, а в поезд,
в хрустящий кожаный плацкарт,
читать какую-нибудь повесть
иль тасовать колоду карт,
и пусть дорога вечно длится,
пускай мелькают за окном
лесов березовых страницы,
поля, крапленные дождем,
пускай мелькают полустанки,
стога, коровы и мосты,
пускай стоят в литровой банке
все время свежие цветы,
пускай в авоське чью-то грушу
всю ночь качает надо мной,
и пусть все время лезет в душу
очередной попутчик мой.

Ледяной блюз

Зима, приятель, настает.
Повсюду лед, повсюду лед.
Лед на груди больших озер,
лед на плечах высоких гор,
по облакам, где тоже лед,
скользит почтовый самолет.

Зима, приятель, настает.
Повсюду лед, повсюду лед:
под черным крепом на стене,

под черным небом на окне.
Разрисовав ледовый цинк,
огни зажег ледовый цирк.

Зима, приятель, настает.
Повсюду лед, повсюду лед.
Лед на чугунных завитках,
лед под коньками на катках,
лед под копытами коня.
И лед на сердце у меня.

Желание снега

Дали дальние туманны.
Дали ближние светлы.
Снега ждут, как с неба манны,
почерневшие стволы...

...Тихо, мягко и морозно.
Черный кот, домашний зверь,
осторожно-осторожно
утром сунется за дверь.

Там — молочная пустыня.
Чьи-то первые следы:
низ проложен тенью синей,
верх — пластинами слюды.

Чайный блюз

О.К.

Дом без чая все равно что без воды горячей,
за окном
да уж, конечно, не погода плачет.
Прячет
где
музыка свой скрипичный ключ?
Давай заварим чай
и коньяка чуть-чуть
плеснем, как будто капель датского короля...
С тех пор как я бояться перестал заездов на поля
под страхом
охов
старенькой учительницы моей,
прошло невероятно много дней.
И вот, когда твой добер воет на луну,
желтую,
как ноготь, тронувший басовую струну,
мы с тобой
ночь напролет гоняем чаи,
душистые,
как лето в парке Чаир.
Мой друг,
оставим грубых сплетников круг,
вокруг
так много настоящих друзей и подруг,
но мы о них в газетах не сможем прочесть:
все, что пишется там, — не про нашу честь.

Утро — вечер

1

Снег, тихонько морозящий,
это снег ненастоящий,
если видно все в снегу
пешеходам на бегу,

если снег еще скамейки
не покрасил кое-как
на другом конце аллеики,
там, где солнце, как пятак.

Если даже, став погуще,
обретя вторую мощь,
всех достав, как дьявол сущий, —
он по сути только дождь.

Снег по сути — летний ливень,
только в облике ином,
и цена ему пять гривен.
Только помни об одном:

не пуховую подушку
взялся Дед Мороз трясти.
Он заводит крупорушку...
Кабы ноги унести!

2

У снежных скал гуляет море,
дрожа от холода.

Оно
совсем заледенеет вскоре,
от ветра спрячется на дно.

Теперь же, торопливо шваркнув
на камни пенистой воды,
оно скоблит их, словно шкварки
на чугуне сковороды.

Отступит и начнет сначала
свой нескончаемый урок.
Лоснится море, словно сало,
и солнце млеет, как желток.

ВТОРАЯ РЕЧКА

Вторая Речка — Амурский Залив

От яркого солнца понятно не сразу,
топазы рассыпало или алмазы,
на солнце играя, веселое море,
похожее на голубого кота.

Дневные поездки пустой электричкой
становятся самой приятной привычкой,
тем более после уютной Седанки
почти полудикие будут места.

Удобное место заняв — по движенью,
щекою прильну к своему отраженью:
свои

перелески, пригорки, лощины
имеют морщины и складки у рта.

Лучистое солнце сквозь пагоды бора
сочится, как будто сквозь щели забора.
Навстречу стволов, проолифленных солнцем,
бежит бесконечный товарный состав.

Сливаясь, проносятся ближние ветки
и неуловимым движеньем каретки
назад возвращаются и пробегают,
чтоб тут же вернуться в начало листа.

И новой пластинкою слева направо
вращаются дачи, березы и травы,
заборы, перроны, ларьки, переезды,
овраг под мостом и овраг без моста.

Сливаясь, проносятся ближние кроны,
как будто пустой электрички вагоны, —
и в каждом открытом окне непременно
задорно мелькнет шевелюра куста...

На трассе между Санаторной и Океанской

От дождя — а дождь за нами,
над троллейбусом, где мы,
развернув большое знамя
с вензелями князя тьмы.

От дождя — а он вдогонку,
дребезжа, как ржавый прут.
Тополиную поземку
капли хищные клюют.

Впереди тепло и сухо,
даже верится с трудом,
что за нами дождик с пухом
припустил как снег с дождем.

Но припомнятся мгновенно
и обвальный снегопад,
и сугробы по колено,
если поглядишь назад.

Утром я еще заметил,
как с обветренных дорог
поднимал горячий ветер
легкомысленный снежок,

как машины, друг за другом
удаляясь чередой,
легкомысленную вьюгу
поднимали над собой.

Навсегда запомню город,
скрытый в снежной пелене,
сквозь которую на скором
ты приехала ко мне.

Снег сибирский падал сухо
на бескрайние поля,
и казалось, будто пухом
их покрыли тополя.

Белым пухом из Китая,
принесенным из-за гор,
потому-то и не тает
снег из пуха до сих пор.

На Санаторной

Играет море в кошки-мышки,
мелькая в лабиринте крон,
как будто плещут фотовспышки
под сенью сводов и колонн.
И вдруг откроется ареной
блестящий диск морской воды —
ударит в медный берег пеной
и острым запахом под дых.
Дыша гекзаметром ритмичным,
душа и тело заодно
в том, что купание — античность.

Ступаю на морское дно.
И вновь дыхание перехватит,
когда волна ударит в грудь
и тело, будто на канате,
повиснет, чтоб передохнуть.

Но море бьет без передышки
и равномерно, как станок.

Волной подхваченный под мышки,
шатаюсь, лягу на песок.

Пока в замедленном повторе
еще плывет моя душа,
нокаутированный морем,
лежу, прерывисто дыша.

Небо над Санаторной

Невесомость — легкая игрушка,
чей секрет — соленая среда.
Словно кислородная подушка,
подо мной катается вода.
Я спрессован, точно прорисован,
как под линзой микроскопа срез.
Я перемещаюсь, невесомый,
между стекол моря и небес.
Я воды причудливая клетка,
головастик, сплющенный паук,
угловатый, как марионетка,
в ломаных движеньях ног и рук.
Но не кукла я чужих наитий
и приказов чьих-то адресат —
паутиной кукловодных нитей
я сегодня управляю сам.
Захочу: как бязевую скатерть,
складки моря соберу в пучок.
Пусть тогда разматывает катер
белой пены подворотничок.
Все равно быстрее достигну взглядом
окоема там, где облака,
где сорвется в бездну водопадом
море от ничтожного кивка.
Путь оно цепляется прибором
за пологий берег! Пусть, дрожа,
не желает отдавать без боя
взятого наскоком рубежа!
Пусть взывает страстно и упорно

к соснам корабельным на холме,
мол, смотрите, точно ваши корни
водоросли, те, что в глубине...

... Лежа на спине, парю я птицей,
слыша голоса иных глубин.
Кроме неба над Аустерлицем,
в этом мире только я один.
Только я, один. И только выси
вечно ускользящая даль.
Вечно ускользящие мысли,
невесомость, легкая печаль.

Площадь Луговая

Луговая. Жара. Пересадка.
Лица граждан красней кумача.
Что, несладко?
Конечно, несладко
пыльный воздух
глотать сгоряча.
Даже море картину юдоли
представляет сегодня собой.
Испаренья поваренной соли
обжигают лицо Луговой.
Здесь груженные
Марьи Ивановны
на автобус несутся бегом,
из трамвая, как будто из ванны,
вылезая с великим трудом.
Киоскеришки,
бросьте трепаться!
Хоть бы хны —
абрикосовый сок.
Солнце тонким сверлом трепанаций
норовит
продырявить висок.
Недогадливо не продавая
у киосков лежащую тень,
в знойном мареве
ждет Луговая,
ждет,
когда же скончается день.
В парке Минного солнце погасло,

потемнев, залоснились пруды
темно-синим
подсолнечным маслом
на зеленых квадратах воды.
И немедленно
из-под трамвая
покатился оранжевый шар.
Пересадка. Жара. Луговая.
Всех бездомных поэтов кошмар.

Закат над Моргородком

В часы высокого заката
в дворце жемчужных облаков
мерцают красные палаты
мифологических богов.
И главный бог сидит на троне,
прямой, как величавый жест,
в плаще с подбоем и короне,
которые сковал Гефест.

Нет, нет! В скафандре космонавта
тот бог, легендам вопреки.
Картину лунного ландшафта
с причала видят рыбаки.

Рисую лунные дорожки, —
буквально каждый бугорок, —
через дворцовые окошки
струится солнечный поток.

Залив уже до половины
затянут пленкой теневой.
Впотьмах молочные кувшины
о камни грохает прибой.

Я сам вечером в воображаемой Византии

1

В этих стенах тихо и прохладно —
много ль нужно, руку положи...
На стенах не просыхают пятна,
пахнет рыбой лезвие ножа.

Пыльный луч рассеянного света,
темный угол справа от меня
да вдобавок сказанное это, —
собственно, и есть остаток дня.

Подо мной средневековый город,
если верить башенным часам.
Есть один лишь человек, с которым
мне не скучно никогда, — я сам.

2

Я вижу на горе небесный город
под калькою тумана или дымки.
Сдается мне, что в кривотолках улиц
там славно разбираются пролетки.

По вечерам дозорные на башнях
отбрасывают стрельчатые тени
и часовщик оставшееся время
на три замка в лавчонке запирает.

Минуя каменистый мшистый мостик,
ведет гостей песчаная дорога
в заросший дом с окном венецианским,
где Мастер награжден покоем вечным.

Какие удивительные книги
он при свечах неспешно сочиняет!
Как жаль, что прочитать их невозможно —
с тем городом обратной нету связи.

Как жаль порой бывает Маргарите,
что, не читая, мы о них тоскуем.
Две-три строки коль отгадает каждый,
все воедино соберем однажды.

Ночной регтайм

Как интересно выдумывать страны
и города в пелерине дождей.
Как интересно выдумывать странных,
ни на кого не похожих людей.

В этом кафе, не считая собаки,
у калорифера вздумавшей лечь,
трое у стойки сидят в полумраке,
льется вино и нерусская речь.

В стрелчатых окнах скользят силуэты,
словно листается модный журнал.
Улица мокрым искусственным светом
превращена в карнавальный канал.

Можно начать с описанья прогулки,
город ночной описать под дождем.
И заплутавшего в том переулке
в первой главе, так и быть, подождем.

Будет погоня, а, значит, машина,
ливня прилипший к стеклу целлофан.
Женщина будет. И будет мужчина.
Значит, роман? Безусловно, роман:

1

Разговоры на лестничной клетке:
кто-то ходит и ходит к соседке.
И, прощаясь в час поздний, наверно,
он ей руку целует манерно
и слова говорит все нежнее...

Но, наверное, было б нужнее,
чтобы он не ходил никуда.

Но он ходит.

И в этом беда.

Вот беда:

он уходит,

уходит...

А соседка по комнатам бродит...

Засыпаю под эти шаги...

Раздраженно кровать заскрипела.

Огрызнулось, ворочаясь, тело.

Будто вновь повстречались враги.

2

Провожал, торопился уйти,
очень поздно домой возвращался.

Повезло как-то:

на ночь остался —

ведь должно ж было и повезти.

Рано утром взглянул за окно:

не узнал ни ограды, ни сада —

ну, конечно же, было темно! —

но и ту,

что была

слишком

рядом

он как будто бы не узнавал

и смотрел на нее, узнавая...

Здесь окраина.

Долго трамвая

человек на окраине ждал.

Пьяные слезы ночных ресторанов
вместе с гримасами мокрых витрин.
Замуж не поздно, и сдохнуть не рано.
Что вы! Всего лишь простой аспирин.

Пьяная свежесть и тени бульвара,
вроде зажаренных в масле котлет.
Значит, засаленный жанр мемуаров?
Да, безусловно. И автор — поэт:

1

И был великий мор и глад,
и лебеду с крапивой ели.
Все поглотила моря гладь,
качаясь сыто, еле-еле.

И был великий пир горой:
в вино ломоть макали ситный.
Все скрылось под морской волной,
холодной, горькой, ненасытной.

2

Там, где море о чем-то шепчет
и зовется это «прибой»,
моя родина — Междуречье
между речью и немотой.
Там, где волны идут на дюны,
от ударов звенят щиты.
Этот звон в пересказах Куна
и сегодня услышишь ты.
Был языческий лепет, покуда

даже лексики не имел,
но лилось молоко в посуду,
повторяя густое «мелк».
И отпрянуло слово-сокол.
Ну, конечно же, не воробей!
До сих пор на губах не обсохло
молоко древнерусских корней.

3

Стать пехотинцем в армии рассвета
Ян Пиларж

Стать пехотинцем, пешим, ставшим пыльным,
дорожной пылью, ветерком ковыльным,
сухой ладони стороною тыльной,
стирающей обильный пот со лба.

Стать под знамена раннего рассвета,
дубравы вольной, облака и лета,
одной строки далекого поэта —
все это называется судьба.

4

Припомнится потом.

Припомнившись, поймется,
что я хотел найти, по улицам бродя:
хороший летний дождь,
замешанный на солнце,
хороший летний день
в промоинах дождя.

И больше ничего.

Все остальное — сноска.

В неровных скобках моря —

дома, дома, дома.

(А этот гражданин, что курит папироску,

под поезд попадет

или сойдет с ума.)

5

Мы встретимся еще когда-нибудь,

поговорим на языке потомков.

Нам варварская речь расправит грудь,

не будучи внушительной и громкой.

И вдруг непонимающий поймет

судьбу, напоминающую смуту.

Нам хватит слова каждого на год,

на месяц, на неделю... на минуту.

Спортивная Гавань. Вечер

Бывает, дождь, весь день навывлет
утюжа кроны и зонты,
на волглый город сразу выльет
ушат холодной темноты
и тут же сам в нее вольется...

Но я люблю, когда вот так,
как нынче,
порциями
солнце
вливает в сумерки коньяк
и получается напиток,
в котором ночи напролет
дневной жары переизбыток
кристально
тает,
словно лед,
а на песке лежит медуза,
и море лижет парапет
и, словно зерна кукурузы,
перебирает лунный свет.

Идешь, и воздух за плечами
и впереди
как будто зал.
У яхт, стоящих на причале,
похожи мачты на шандал.

Друг другу чайки на прощанье
кричат свое алаверды,
и остается от купанья
коньячный вкус морской воды.

Соловей-ключ

Где плавно дачное затишье
течет по листьям как вода,
блестят на солнце капли вишни
для скрупулезного труда.

Блестят на солнце капли вишни,
сквозь пальцы капая в бидон,
а сколько их, совсем не лишних,
вместить уже не в силах он!

А сколько их, совсем не лишних
для птиц, которым надо петь,
на всех делить велел Всевышний,
который птицей был на треть.

На всех делить велел Всевышний
причастья кровь свою и плоть,
но что иное, кроме вишни,
имел для этого Господь?

Но что иное, кроме вишни,
влечет паломников туда,
где плавно дачное затишье
течет по листьям, как вода?

Амурский залив

На лодке, взятой напрокат,
плывем. Пещерным сводом тучи
над нами. И кричат, кричат,
кричат надсадно рты уключин.
А чайки подражают им.
Плывем на лодке в полумраке.
А вдалеке лучом косым
приколот берег — там собаки
беззвучно лают и везде
жилья приметы и достатка:
дымятся трубы кое-где,
а где-то зеленеет грядка,
на кольях сушатся мешки,
и на игрушечной опушке
торчат коровы, пастушки
и вездесущие пастушки.
А мы плывем, и все густей,
теснее ночь, хотя и полдень.
Мир лишь в одной из двух частей
прекрасен, потому и подлин.
И быть нельзя и там, и там,
как умереть нельзя для вида,
по историческим местам
бродя в стране царя Аида.

Ночь. Начитавшись Бродского

Ночь за окном. Полночная жара.
И духота. И никому не спится.
Не спят врачи, актеры, шулера,
театры, бары, казино, больницы.
Не спят автомобили и мосты,
не спится кораблям, трамваям, парку,
не спят деревья и не спят кусты,
не спит студент, читающий Петрарку.
Его сосед, что ниже этажом,
не спит — слонов считает по старинке.
Писатель N, глотающий боржом,
чечетку бьет на пишущей машинке.
Не спит любовник, возбужден и гол,
насилуя счастливую подружку.
Директор бани, выпив димедрол,
скрипя зубами, тискает подушку.
Не спят крутые. В темном тупике
у них, крутых, всю ночь идут разборки.
Не спят клопы в дырявом тюфяке
и мыши, копошащиеся в норке.
Бессонницей ночные сторожа
наказаны за прошлое с лихвою.
И фея сна в компании пажа
беспечно пьет зеленый чай с халвою.
Многоэтажки потеряли сон,
вокзал гудит, прилив речитативом
пересказать нелепый лепет крон
пытается Луне неторопливо.
Не спят цикады, комары зудят,

у них и бабочек фонарная тусовка.
У арсенала молодой солдат
шагает по периметру с винтовкой.
Литературный критик-юбиляр
не спит от несварения желудка.
Не спит филер, безумствует фигляр,
прогуливает смену проститутка.
Не спит художник. Предаваться сну
он не имеет никакого права,
и, слушая «Немецкую волну»,
не спит казачий атаман Халява.
Никто не спит. Никто.
Младенцев плач
сливается с кошачьим голошеньем.
И сам не спит и никому скрипач
спать не дает моцартовским твореньем.
Полмиллиона взрослых человек,
как малыши повизгивают в душах,
и лишь один незримый имярек
незнамо где — прислушайся, послушай —
храпит, перебирая все лады,
как будто в мастерской врубили сверла,
как будто он, набравши в рот воды,
певуче прополаскивает горло.
Посвистывает носом, языком
прищелкивает, чмокает губами,
едва ли с нотной грамотой знаком,
он болеро железными зубами
выскрипывает, и скрипач за ним,
подстраиваясь, продолжает тему
(вы знаете ее: «Та-ра-ра-рим», —
заученную, словно теорему).

И музыкантов уличных квартет,
в старинных разместившийся воротах,
заслышав удивительный дуэт,
наяривает ласковое что-то.
И грустный симфонический оркестр
рыдает на такой щемящей ноте,
что все двory, все улицы окрест
теряют очертанья брeнной плоти,
теряют очертания сторон,
черты, вещам присущие привычным, —
тела и души примеряет сон,
поскольку подсознание первично.

Встреча на Некрасовской

Не знаю, как другим,
но мне всегда прикольно
через десяток лет
в замоте, на бегу
столкнуться тет-а-тет
с дружком
старинным,
школьным,
которого узнать
я сразу не могу.
Он узнает меня,
мы узнаем друг друга.
А дальше, как всегда,
занятный диалог.
Перебирая всех,
мы делаем два круга,
подводим промежуточный итог.
Чем встречи хороши?
Конечно, расставаемся.
Тем, что в чужих глазах
я в общем-то «вполне»:
не спился, не в тюрьме,
не утопился в ванне,
и, судя по всему,
не изменял жене.
И не в тряпье одет,
хотя и не по моде,
и, кстати, кое-что
сегодня прикупил,
а то, что у меня

не все порой выходит,
порою денег нет,
порою нету сил,
не кажется и мне
теперь таким уж горем —
я жив, и я живу,
и горе не беда.
Поговорив чуть-чуть,
мы расстаемся вскоре
еще на десять лет,
а, может, навсегда.
Мне весело идти.
Ему приятно топтать
и думать про себя,
торжественно дыша:
«Уж если
кем-то стал
и этот недотепа,
то наша с вами жизнь
и вправду хороша!»

14-й км. Похороны Турецкого

Когда мы спрашиваем друг у друга,
когда же это кончится, когда:
вся эта бесконечная напруга,
на каторгу похожего труда,
все эти дразги мелочного быта,
безденежья законченный тупик,
дежурства у разбитого корыта,
бессилья вдох, переходящий в крик,
пустые речи, лживость обещаний,
вся эта жизнь, похожая на срок,
назначенный за то, что мы — мещане,
хотя и не скопили счастья впрок,
все наши неудачи и болезни,
и наши страхи, страсти и грехи,
сознание того, что бесполезней
заняться нету, чем писать стихи,
зимою бесконечные морозы,
а летом бесконечная жара,
и пот, и кровь, и дрожь, и брань, и слезы,
все то, что продолжается с утра,
все, что уносит молодость и силы
бесповоротно, сразу, навсегда, —

то лишь у края чьей-нибудь могилы
приходит понимание, когда.

Вторая речка. Через 3 дня

Дождь. Монотонная штриховка.
Картина с плачущим окном.
Прохожий, божия коровка,
бредет по свету под зонтом.
И чем фронтальный дождь упорней,
тем бесприютней у реки
деревья, свесившие корни,
как с удочками рыбаки.
И я смотрю через окошко
на то, как исчезает брод,
как по расквашенной дорожке
прохожий под зонтом бредет,
как бесприютны и понуры
деревья там, где склон размыт,
и как похожи на скульптуры
атлантов и кариатид,
и думаю: «Еще немного
такой фиесты дождевой,
и эта бедная дорога
уйдет под воду с головой,
и распахнется, как ворота,
на обе стороны река,
и если дом покинет кто-то,
то от тоски наверняка,
и я скажу тогда:

— О Боже!

Когда не будет у тебя
другой погоды для прохожих
еще хоть день, —
клянусь, я тоже,
я тоже
выйду
из себя!»

Облака над Второй речкой

Смотрю на облака — какие виды! —
осматриваю их со всех сторон,
висячие сады Семирамиды,
отстроенный вторично Вавилон.
Его еще раз подновили к лету,
по воздуху доставили сюда.
Желающим приобрести билеты
удастся это сделать без труда.

И вот уже над нами эти своды,
высокие с лепниной потолки,
и вот уже мы сами — те народы,
смешались у которых языки.

И вроде бы слова одни и те же
друг другу повторяем сотни раз,
но как-то получается все реже
взаимопонимание у нас.

А мы за место боремся под солнцем,
разменивая жизни и века...

Как бороды надутых вавилонцев,
курчавятся сегодня облака.

С рынка на рынок

Да как же мы забыли про арбуз?!
Ведь август, вдохновляющий на траты,
припас его к финалу, точно туз,
козырный туз,
вальяжный и пузатый!

Во что-то генеральское одет
(широкие лампасы на рейтузах),
пусть он почтит вниманьем наш обед.

Займемся же покупкою арбуза.

Арбузы. Повсеместно, там и тут
арбузов верещагинские груды —
представьте, что их все не разберут,
а ливни хлынут — вот вам и запруды.

Как будто мало нам других морей!

Не будемте ж, друзья, ушами хлопать:
раскупим все арбузы поскорей,
спасем себя и город от потопа.

И вот уже в руках заветный груз —
аккумулятор сахара и влаги.
Торжественно несем домой арбуз,
как будто воду в трехлитровой фляге.

И всякий, кто навстречу нам идет,
арбуз, а то и два несет в кошелке.

Везут арбузы, как под Новый год
пушистые рождественские елки.

...И вот, всадив по рукоятку нож
в зеленый бок и стонущую мякоть,
ты с нетерпением и азартом ждешь,
как половинки вспыхнут ярче маков,
как распахнется надвое арбуз,
подобно книге, взятой с книжной полки, —
и ты, войдя стремительно во вкус,
проглотить все от корки и до корки.

Соловей в Моргородке

Спеша на электричку,
видел я
в Моргородке
сегодня
соловья:
у станции,
где заросли полыни,
на стебель, как на ветку, он присел,
на море глядя, –
море было синим;
а соловей...
конечно,
был он
сер,
но элегантен.
Он глядел на море.
На привязи качались катера.
Поднялся ветер, от полыни горек,
и соловей подумал:
«Что ж, пора».
Беззвучно
он вспорхнул и, набирая,
как говорят пилоты,
высоту,
растаял в небе,
словно бы черту
сверхзвуковую пересек.

Пора им.
Пора, пора...
Марокко ждет,
Иран,
Аравия
И также Палестина,
Танжер, Алжир, Шираз и Тегеран
и уж, конечно, Мекка и Медина.

Гроза над Второй речкой

1

Все начинается с того,
что нам за что-то нет прощенья.
Последний час предгрозовой.
Свет переходит в освещенье.
Такая вкрадчивая тишь,
так все контрастно и красиво,
так страшно...

как бывает лишь
за полсекунды перед взрывом.

2

Первой капли на землю паденье.
Черной-черной и жирной, как тушь.
И сухое листья шелестенье,
словно где-то поблизости — душ.
И на месте бегущие кроны,
как блистательный Кушнер сказал.
И как будто вагоны, вагоны
заслоняют все время вокзал.

3

Светлеют постепенно листья,
а дождь купается в грязи.
Но вот окно. С какой-то злостью
оно глядит в глаза грозе.
Там, пожилой и бородатый,
сурово человек живет.
Его я знаю: сам когда-то
всем говорил, что он — поэт.
Уверен я, сейчас он пишет,
и гром порукою тому,
о том, что все поступки наши
ввергают нас в такую тьму.
- Повсюду зло! Его микробы
проникли в грешные тела! —
примерно так. Но разве злоба
не увеличивает зла?

4

Крутой и северной закваски,
сбивая, кроя и гвоздя,
кладутся, точно по указке,
косые линии дождя.
Где по ветвям прошелся ластик,
кладутся желтые мазки,
и клен стоит, как первоклассник,
краснея, словно у доски.

Осень не за горами

Разговор о дожде.
Как на фронте во время затишья.
Пузыри по воде,
поплавками качаясь, плывут.
Раздавлив дождевого червя,
поскользнешься на нем, как на вишне,
все размыто
буквально за пару минут.

Дом размыт.
И колеблется.
Окна ребристы.
Но опять в промежутках абстрактной мазни
три-четыре
конкретных мазка
успевают ввернуть реалисты,
намекая,
что, де, наступают пленэрные дни,
что раздвинется ливень,
как занавес,
где нарисован,
легендарного Китежа зыбкий, как время, мираж,
и откроется даль,
и откроется небо,
откроется ряд начертаний и линий,
ряд деталей,
с которых начнется
осенний пейзаж.

ФАБУЛА РАЗА

Когда жизнь ясна в своей основе

А было так
Еще светило солнце
Но было душно и на горизонте
Накапливалась чернота как будто
Фронт приближался

Громыхало внятно
Как будто артиллерии расчеты
Передвигали грубые мортиры

Фронт надвигался
Фронт перемещался
Он захватил плацдарм уже в полнеба

Повсюду беженцы
С кошелками носились
И на базаре лаяли собаки

И мы с тобой домой поторопились
Спиною ощущая как зловеще
Прищурились на флешах бомбардиры
Закончившие речи о шрапнели

— Пли! — нам пропели
Слава Богу петли
Дверные в нашем сумрачном подъезде

Да
В час астрономического полдня
Мы поднимались по ступеням черным
Как будто шли с последнего сеанса

И тут раздался первый залп
Внезапный
Хотя и ожидаемый с тревогой

И первым делом
Оказавшись дома
Мы к окнам поспешили
Ожидая
Увидеть то
Что тут же увидали —

Стеною ливень
В форме цвета хаки
Бесстрашно на защиту крон встающий

Ложитесь говорил он им
Ложитесь
Пригнитесь
Вот сейчас опять бабахнет

И точно
Вновь бабахнуло так сильно
Что лампочки от страха замигали
И нам пришлось все выключить в квартире
И оказаться в сумерках зловещих

И я подумал
Вот оно мгновенье
Которое ценить необходимо

За то
Что жизнь ясна в своей основе

Укрыться
Избежать
В живых остаться

Пока в прострелянном ветрами поле
Гуляет молния
Сверкая острой саблей

Ах, этот лес, в котором зыбко

Ах, этот лес, в котором зыбко
и зябко; где ручей речист,
где кружится осенний лист
ленивой золотою рыбкой...

...И вроде бы я пережил
свои крамольные желанья.
И вроде бы пора прощанья
да и прощенья на дворе.

Но что-то манит в октябре
и нас, как этот лист осины,
назначить сердца именины,
быть может, в их последний раз.

Но что-то манит, манит нас...

... Итак, в лесу, в котором зыбко
и зябко; где ручей речист,
где отрывной осенний лист
мелькает золотою рыбкой,

шепчу о том, чего хочу,
о чем мечтать давно не смею,
чего, конечно, не сумею
ни сохранить, ни раздарить...

... Ах, этот лес, в котором зыбко...

...и быть застигнутым дождем

... и быть застигнутым дождем
В бескрайнем бесконечном поле
Где ветер воет в си бемоли
Люблю дожди за то что тянет в теплый дом
К домашним к милым домочадцам
Туда где чай и сладок мед
Где каждый любит и поймет
Люблю дожди за то что в небе тучи мчатся
Как вагонетки из раскрытых недр
И вдруг одна зацепится за кедр
И разрыдается...

И снова три-пятнадцать
Затянет ветер в си бемоли вой
И носится над буйной головой
Отрывок из какой-то шняги Баха...

У каждого

У каждого
Есть свой Париж
Своя лирическая драма
Пространство неба где паришь
Как крест
На шпиле Нотр-Дама

У каждого
Есть Лондон свой
С его наивным файв-о-клоком
В миг
Когда мир предгрозовой
Трещит по швам у самых окон

У каждого
Есть грозный Рим
Свои руины Колизея
Куда — упрямый пилигрим —
Стремишься
Жизни не жалея

В переходе

Деревянная дудочка,
деревенская дурочка,
просит гундосо копеечку
в шелковую тюбетеечку,
только копеечки нет.

Дурочка с переулочка
кушает сдобную булочку,
кушает-слушает,
слушает-кушает,
тоже копеечки нет.

Прошелестела кликуша,
грязная, как волокуша,
заплатушка на заплатушке,
слово — так, два — по матушке,
копеечки точно нет.

Прыгая по ступенечкам,
рыжий мальчонка Эдичка,
было, промчался мимо,
да вдруг застыл в позе мима,
не до копеечки тут:

— Ах, деревянная дудочка,
ах, деревенская дурочка,
что же ты хнычешь, гундосая?
Хочешь, возьми папиросу,
раз уж копеечки нет.

На эскалаторе в торговом центре

Пахнувший хною и дегтем
бутик «Для души и для душа»,
два на четыре загончик для мягких зверушек,
полусалон панталон и бюстгальтеров
«Мой рай» —
вниз.

Пол-этажа с адидасами, найками,
майками, клюшками, лыжами,
с лысиной Джордана и с манекенами рыжими
и притулившийся рядом
пенал бижутерии «Дамский каприз» —
вниз.

Царство коробочек, баночек, скляночек,
узких флаконов конических,
томных тонов канонических и ароматов,
почти мнемонических,
постеров глянцевых, там, где и Энди, и Клава,
и Ева, и Мила твердят свое вечное cheese —
вниз.

Кольца и перстни, браслеты, сережки,
часы, ожерелья, кулоны;
норка и белка, лисица и соболь —
стригут же иные купоны!
Шелест примерочных — платье за платьем,
как трюк Копперфильда на бис, —
вниз.

Видео-шмидео, плазма, зовущая
в буйные заросли дикой саванны,
или на пляжи янтарные Копакабаны,
или в тень Фудзи, где цапля складная
ворует по зернышку рис, —
вниз.

Плов по-фергански, рисинка к рисинке,
дымящийся невыносимо,
стейк на решетке, пицца с грибами,
суши с креветками, кьянти, токайское —
мимо.

Кофе в наперстке, газета, сквозь синь
тонировки насупленный, точно в грозу,
город внизу.

Площадь, трамваи, автобусы,
птицы и люди (сограждане).
Странно, что даже отсюда
лицо различимо у каждого.
Вон поглядите, и та, что минуту назад
невзначай в стылый чай обронила слезу,
плачет внизу.

В кафе «Приют убогого чухонца»

Зеркало, висящее в углу,
зафиксирует одним макаром
сразу три воркующие пары
и шербет разлитый — на полу,

а еще — как вечер за окном
превращает в полумаски лица
(сладковатый аромат лакрицы
отдает анисовым вином,

тем, что в старой доброй Византии
во второй и пятый день поста,
начиная рыбу есть с хвоста,
пили и монархи, и витии).

Двое в глубине — Он и Она
(Он ладонью Ей ладонь накроет).
В чашечках коричною корою
— вытяжка кофейного зерна.

Фредегонда, швабру волоча,
ляпнет что-то резкое Брунгильде,
что за стойкой открывает «Пильзен»,
светлый, словно первая моча.

Зеркало в углу поймает взгляд,
полный чувства затаенной мести.
Словно кто играет на челюсте,
чашечки разбитые звенят.

За окном включают мглу и в ней,
шаря с фонарем на антресолях,
опрокидывают тонну мелкой соли,
а затем полтонны покрупней.

Полчаса — и город можно есть,
как суфле, разлитое по формам.
Скрип и хруст — коней крылатых
кормят
(для поэтов благостная весть).

Пусть трамвай играет скверный джаз.
Пусть такси ползет, а не несется.
Пусть «Приют убогого чухонца»
объявляет санитарный час.

Двое в глубине — Он и Она
(И Она ладонь не убирает).
В чашечках давно не убывает
вытяжка кофейного зерна.

**Глядя в окно автобуса на пробегающий
мимо заснеженный пейзаж**

— Ощущение правды, ощущение лжи —
словно дороги крутой виражи,
то есть
то влево кидает,
то вправо.

— Ага, братан, я понял: то яма, то канава.
Судоку. Японский министр путей сообщения.

— Как же все-таки изменяются ощущения,
когда, находясь в состоянии

относительного покоя,
ты тем не менее перемещаешься, и все такое.
То, что на месте стоит, — эти березки,
дорожные знаки, просеки,
кажется, тянет кто-то к себе
на невидимом тросике.

Больше скажу, ось земная
словно касается твоего темени...

Право, автобус — это корпускула
пространства и времени.

Как там у Эйнштейна? Понятие хронотопа...

— Во-во, это тебе не по полю, хромая, топать,
а в тепле и светле, и заднице мягко.

Мчим токо так. Глянь-ка, братан,
уже проскочили Полтавку.

Лепотища! Снег накануне прошел.

— Да, действительно очень хорошо!

Знаете, есть в этом белоснежном
бескрайнем пространстве

дух вневременья и постоянства.
Такое же белое было до нас,
будет и после. Мы гости.
Нас отпоют, упокоят на скромном погосте.
Не знаю, как Вы, но я не вижу в этом
огромной беды.
Другие придут. В девственных этих сугробах
оставят следы.
А мы в каком-нибудь теплом и светлом
фантоме-автобусе
будем вести неторопливые разговоры
на гиперкосмической скорости.
И не будет конца
у взметенного звездной метелью Пути.
— Да, братан, жизнь прожить —
это тебе не поле перейти.

**За полчаса до ужина, уже поставив
«росинанта» в гараж**

— Охота к перемене мест
сродни охоте
соколиной.
Обозревая все окрест,
замрешь вдруг с удивленной миной:
ах, боже мой,
какая дичь,
сто с лишним лет на свете прожил,
а все еще не смог постичь
ни сердцем, ни умом, ни кожей,
а что ж такое
красота...
— И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
или огонь, мерцающий в сосуде?
— Мерцал закат
над морем
в этот раз
и отражался в нем
в какой-то мере,
вдоль трассы, издавая мерный лязг,
тащились ископаемые звери,
и самый грозный, заурчав, вознес
почти над нами
клюв свой
ястребиный.
Но словно ежик стриженных волос,

лес
оставался
непоколебимым.
... Заправки,
просеки,
развилки и посты —
мы мчались,
будто Игорь-князь
из плена,
и солнце, натываясь на кусты,
алело,
словно сбитое колено.

У окна на сон грядущий

«Окно — волшебная картина,
январских сумерек кристалл,
в лесу мерцающий камина
огонь, пред ним с углем корзина,
вдали глубокий, гулкий зал.
Проходит время, едут сани,
рысцой бежит за ними волк,
за ним с дрекольями — селяне,
остановились на поляне,
перекурили («Ронсон» — щелк),
погрелись у огня камина,
потом, по залу разбредясь,
давай рассматривать картины
и вазы, кто-то о корзину
с углем споткнулся и, смеясь,
потер ушибленную ногу,
случайно бросил взгляд в окно,
на опустевшую дорогу,
на санный след, ведущий к логу,
где с полчаса уже темно».

— Чего ты, света не включая
сидишь? Сумерничаешь, да?
— Ага,
сижу себе,
скучаю.
А что у нас сегодня к чаю?
— Есть мед,
варенье,
пастила...

«Как жаль, что нет у нас камина
который бы в ночи мерцал,
волшебней делая картину
окна, где сажей и сангиной
январских сумерек кристалл
набросан...»

— Как же я устал!

— Ну, так приляг,
укройся пледом,
вздремни...

«Ах, боже мой, куда
куда я на ночь глядя еду?
И кто бежит трусцою следом?
Какая серая беда?»

Вторая Речка

Первую Речку
мы извели,
но осталась Вторая.
Бурные воды ее
глубоки —
в человеческий рост.
В камень речной
превратился поэт, умирая.
Скромным надгробьем
над ним возвышается мост.

Слушая речки
картавый
ямбический лепет,
ты в полумраке прохладном
стоишь под мостом,
словно наследник
в фамильном заброшенном склепе,
неохраняемом,
диком,
прекрасном,
простом.

Свет,
от воды отражаясь,
блуждает по сводам,
словно улыбки
по лицам чумазой шпаны,
бывшей не сбродом,

а брод потерявшим народом
Богом забытой,
безбожно великой страны.

Сорным быльем
затянулась ужасная
яма.
В синее море
хрустальные речи стекли.
Камень прибрежный
последней строки Мандельштама
лег в аккурат
на краю
заповедной земли.

АРАБЕСКИ

На Голгофу

На Голгофу, на Голгофу,
На высокий перевал
Лентой тянутся машины,
И «Ниссан», и самосвал.

И автобус, где туристы,
И маршрутное такси,
Нет конца у этой пробки,
Пытки, Господи, спаси.

На Голгофе, на Голгофе,
Говорил один пацан,
Будет там и чай, и кофе,
И шартрёз, и круассан.

На Голгофе ветер вольный
И такое все окрест...
И совсем-совсем не больно,
И совсем нестрашный крест.

Волхвы

В шапках странных и остроконечных,
В непонятных халатах волхвы,
Обращая внимание встречных,
То и дело на стогах Москвы.

Голова, устремленная к небу,
Шевелящийся острый кадык —
Угощаются праведным хлебом,
От которого город отвык.

Сквозь Ильинского голые кроны
Видят звездного неба нутро,
В катакомбе холодной с перрона
Их, как мусор, сметает метро.

И опять возникают, как дети,
Изучают по карте маршрут.
«Понаехали тут», — им ответят
И свою дорогой пойдут.

Ясень

Что ж ты так предсказуем и ясен,
Словно рифму рождающий слог,
За окошком желтеющий ясень,
Тонкорунный языческий бог?

Твою крону, как будто корону,
Золотит наступивший октябрь,
Скоро-скоро соседнего клена
Вспыхнет жертвенник ради тебя.

И потянутся дни и дороги,
Осененные светом твоим,
И деревья, как древние боги,
Мир застанут опять молодым.

И лучи заходящего солнца
Будут радовать кожу и глаз,
И в дорогу опять соберется
Кто-то светлый и лучший из нас.

Из Пессоа

В гостинице не было света,
В гостинице было темно.
На койку прилег я одетым.
Луна освещала окно, —

Как будто замки и засовы
Проверить спустилась с высот.
И мне из Фернандо Пессоа
Припомнился вдруг перевод.

И слышал я гул ресторана
(Наверно, гудят при свечах)...
Я вспомнил: письмо коринфянам,
Тоска, безнадега и страх.

Всё — вымысел, божию враки,
Века прогорели в ночи,
И мир пребывает во мраке,
И нет под рукою свечи.

Бог

За дальней кромкой леса
Скопление серых туч.
Их, словно край навеса,
Пробил граненый луч.

Как будто бросил сходни
На землю НЛО,
Как будто к нам сегодня
Вдруг знаменье пришло.

Не так ли наши предки,
Небесный видя знак,
Клонились, точно ветки,
И трепетали так?

И, вправду, что он тянет?
Стеснительный какой.
Как инопланетянин
С квадратной головой.

Море

Слышишь, море говорит
То отчетливей, то глуше?
Если долго-долго слушать
То, что море говорит,

Можно различить слова
Из времен, что отшумели.
Вот беседуют шумеры —
Говорят свои слова.

Вот чжурчженин, вот монгол.
Вот болгары, вот хазары,
Тары-бары-растабары:
Кто к кому войной пошел.

Можешь моря зачерпнуть,
Поднести к лицу в ладонях
И услышать, как застонет
Раненный стрелю в грудь.

Про Петрова

В супермаркете после работы,
После праведно-грешных трудов
Выбирает балтийские шпроты
Николай Николаич Петров.

Посредине торгового зала
Свой мобильник пытается чудак:
— Вера, где ты? Куда ты пропала?
Я не в теме, чего тут и как.

Он не в теме, конечно, не в теме,
Потому что всю жизнь напролет —
То не то, то не так, то не с теми,
А хотелось бы наоборот.

А хотелось бы всё — да с начала,
С банки шпрот, ну, хотя бы вот так:
— Вера, где ты? Куда ты пропала?
Человеку без Веры никак.

К морю

Здравствуй, вольная стихия,
Соль Земли, ее заквас.
Наступают дни лихие
Для тебя, как и для нас.

Задирая волны ловко,
Выбивая всхлип и стон,
Как портовую дешевку,
Будет брать тебя муссон.

И у скал, где у растений
Стебли вытянулись в нить,
Будешь, воя на коленях,
Камни ржавые скоблить.

День и ночь, согнувши спину,
Будешь драить дочиста,
Как Мария Магдалина,
Ноги каждого куста.

Роща

Эта голая роща
Будто храм недостроенный.
Ветер, кровельщик тощий,
Что-то делает с кронами.

Явно кем-то нарушена
Очередность работы, —
Вот и с клена маньчжурского
Вмиг сползла позолота.

Лишь вороны на елке —
Украшенье пейзажа.
Клест мгновения щелкает,
Бальзамируясь заживо.

Все острее и мгновеннее
Жизнь, залетная птица...
Где бы встать на колени
У ручья, чтоб напиться?

День

Как нищему на паперти, где тень,
Протягивают новенькую денежку,
Так нам октябрь вручает ясный день,
Мол, если просят, то куда же денешься!

Ах, этот день, прозрачный на просвет,
Листвы последней водяные знаки.
Всего за рупь чего тут только нет!
У магазина греются собаки.

И можно быть богатым, точно Крез,
В автобусе, прильнув к его окошку,
Махнув на край земли, где, словно крест,
Торчит маяк на Токаревской кошке.

Закату здесь сгорать, да не сгореть,
А медленно в пучину погрузиться,
В густую бронзу превращая медь,
Которая лежит на наших лицах.

Про Джона

Дом у Джона — сам себе поэт:
Дверь толкнешь из комнаты в прихожую,
А прихожей, собственно, и нет —
Сразу улица с брусчаткой и прохожими.

Здесь, чтобы не делать лишний крюк,
Вниз на Пушкинскую люди ходят часто.
Говорят, здесь мог Давид Бурлюк
Жить в 20-х в мебелирашках частных.

А теперь живет Кудрявцев Джон,
График и философ по натуре.
Вот сидит передо мною он,
Кофе пьет и сигарету курит.

С бородищей, словно божество
Созданных и собранных предметов...
Дверь толкну — в прихожей у него
Город, море, звезды и планеты.

Из Одена

Вот и осень, как нянины сказки,
Неизбежно подходит к концу.
Как там? «Прочь покатались коляски»?
Ну а здесь? Прикатились к крыльцу,

У которого две табуретки.
Гроб выносят. Покойник угрюм.
Не спеша обсуждают соседки
Габардиновый новый костюм.

На лесном, на горбатом погосте
Оживление тоже с утра:
Тролли делят заранее кости,
Духи носятся, как детвора.

Все гадают, кто спустится с неба:
Ангел белый, иль черный, как грач...
А спускается первого снега
Тонкий саван, дырявый, хоть плачь.

Пони

Закрыли шахту 309-бис,
Распродали машины и комбайны,
Но ежедневно, поначалу тайно,
Приходят, в клеть садятся, едут вниз.

И вновь земная долбится кора,
И в слободе затапливают печи,
И с фонарем ныряет в штольню вечер,
Чтоб утром выдать солнце на-гора.

И золотом отчаянно горит
Все то, что с новой силой будет ржаво.
«Едрит-Мадрид, обидно за державу!» —
Маркшейдер Сухов, сплюнув, говорит.

А дочь его, семи неполных лет,
Счастливо улыбаясь, кормит пони.
И рафинад на маленькой ладони
Как антрацит, а, впрочем, уже нет.

Соната

За дверью скрипка пела в ля-бемоль.
Он ключ достал, чтоб не тревожить сына.
Поставил воду («Где же эта соль?»),
Взглянул в окно. Уже у магазина

Стояли, пиво пили, матерясь,
На спор окурками стреляли в кошку.
Помятый ящик шмякнув прямо в грязь,
Трехпалый Федя вздрючивал гармошку.

Над Сихотэ-Алинем рдел закат.
Клубились тучи по-над комбинатом.
И город, как разрезанный гранат,
Мерцал. Река неслась по перекатам.

Он дверь закрыл. Спустился. Взял вина,
Немного потоптавшись у прилавка,
Подумав, уходя: «И на хрена
Ты здесь красивая такая, Клавка?»

С бохайского

Здесь, вчистую срезав гребни крон,
Сто веков назад упал дракон.
Сто веков, меняя очертанья,
Превращался в эти сопки он.

Сто веков, решителен и смел,
Мой народ здесь рудники имел,
Добывая из когтей драконьих
Наконечники для точных стрел.

Сто веков высокая гряда
Не пускала никого сюда.
Сто веков из-под земли сияла
Только нам волшебная руда.

Но всему приходит крайний срок.
Сто веков идти, не чуя ног.
Сто веков идти, молясь ночами,
Чтоб скорей послал дракона Бог.

И проносятся мимо
 машины по трассе,
И таежное солнце
 мелькает, как рысь.
И березы,
 как балерины в танцклассе,
Приседают на корни
 и тянутся ввысь.

Клен

Ветрами битый, воронами пуганый,
В роще, отпетой отпетыми вьюгами,
Черной, как древний обугленный скит,
Клен придорожный, алея, стоит.

Клен придорожный, отчаянно алый,
Машет, расхристан и долговяз, —
Точно всю ночь колобродивший малый,
Выйдя к дороге, в сугробе увяз.

Мимо проносятся автомобили
(как его грешно-сердешного били!).
Смачно чадя, попилит лесовоз
(как он в чащобе потом не замерз?).

Вышел к дороге, жалкий, без сил.
Снег пожевал. Корни пустил.
Кровь загустела. Цветом — как йод.
Мож, оклемается, дальше пойдет.

Из Фроста

В царапинах, покрытые коростой,
Среди берез, прямых, как слово «пли»,
Те самые, которые, по Фросту,
Касаются верхушками земли.

То там, то здесь разбросаны по склону,
Как по дороге горной виражи.
Не год, а больше снежные циклоны
Склоняли их сломиться и не жить.

Как девушки, что распустили косы,
Чтоб высушить белесые, как жмых...
А, может быть, пацан рыжеволосый
В качели превратил одну из них?

Вверх по стволу, верхушку пригибая,
Ногами в землю, как ни тяжело,
И снова ввысь, над пропастью, над краем...
Веселое, однако, ремесло.

Россини

Какое счастье жить в России,
В машине ехать по шоссе.
Кругом поля во всей красе
Снегов. В наушниках — Россини.

И надо ж умудриться так:
Журчанью слов иноязычных
И колебанию струн скрипичных
Распахиваться точно в такт.

Всей широтой своих полей,
Всей долготой дороги узкой,
Всей глубиной глубинки русской.
Зима в провинции моей.

Каким великим надо быть,
Чтоб за три века, за три моря,
Не помышляя о фаворе,
Ее на ноты положить.

Декабрь-художник

Декабрь-художник
Куда как прост:
И ель — треножник,
И неба холст

Натянут туго,
Как барабан,
И чертит вьюга
Набросок-план:

Вот лес как шторка,
Нет, жалюзи.
А это — горка.
Вот тут, вблизи.

Сюжет затаскан?
Тогда пардон.
Все белой краской
Замажет он.

Снежинки

Непрочную налаживая связь
Земли оцепеневшей с Небом стылым,
Снежинки сверху вниз летят, вясь,
Садясь и на лицо, и на затылок.

Такое впечатленье, что с людей,
Вполне еще живых, снимают маски
Посмертные. Как стая лебедей,
Хлопочет снег, и всё теряет краски.

И вот уже какая-то душа,
Взмывает ввысь в распахнутой крылатке
Над рынком, где снуют и мельтешат
У павильона в белой плащ-палатке.

И вот уже какой-нибудь душе
На выбор предлагают слепки-лица,
Поскольку обрести пора уже
Лик — ангелу, личину — ангелице.

Из Тарковского

Короткий зимний день,
Еще короче вечер.
Заняться чем-то лень,
Да, собственно, и нечем.

Когда стемнеет, в шесть,
Поставлю «Ностальгию».
Жизнь такова как есть,
И мы в ней все такие.

Вновь жаждет лечь в постель
Под русского Андрея
Капризная мамзель —
Дурацкая затея.

Свобода ведь не в том,
Чтоб брать всё, что хотимо.
...Подумалось потом:
«Быть русским — это схи́ма».

Простуда

Болезнь вздохнул; с надсадой; так,
Чтобы простуженное тело
Весь день, как старый товарняк,
Стонало, охало, скрипело.

Чтоб мысли путались в бреду,
Как пассажиры при посадке,
Как будто сам на всем ходу
Вцепился в ручку мертвой хваткой,

Ступеньку щупая ногой,
Но ощущая только бездну...
... И ночью, черной и глухой,
На полке верхней вдруг воскреснуть.

Воскреснуть и взглянуть в окно:
Луна, какой-то полустанок
Заснеженный, Вселенной дно,
И провода, как след от санок.

Оттепель

Немного мороза, немного тепла —
И вот уже город блестит, как юла,
Покрытая розовой пудрой.
Февраль. Чистка перышек. Утро.

Припудренный сквер: что ни ветка — коралл
Из тех, что украл незадачливый Карл
У бедной, доверчивой Клары.
Увы, больше нет этой пары.

Напрасно в их честь серебрятся кусты.
А впрочем, у всякой такой красоты
Конкретного нет адресата.
Снег счищенный всюду, как вата.

Как вата, в которой хранили стекло.
Немного морозно, немного тепло.
Контраст, оживляющий чувства.
И в этом вся тайна искусства.

Графика

Как Джон Кудрявцев в поисках фактуры
Картон пропитывает черной акварелью
И мнет его, еще сырой и вязкий,
Пока не станет мятым и бугристым,

Готовым передать гуашью белой
Хитроspлетенья сновидений Джона —
Дереvья, скажем, целый сад вишневый
С зависшею меж веток камбалою,

Вот так же ты, мой Бог, сегодня ночью
Мнешь черное, пропитанное ветром
Морским, пока не станет мятым,
Бугристым и готовым передать

Гуашью белой сновиденье Джона —
Тела нырнувших в снежные атоллы
Автобусов с квадратными глазами,
Глотающих людей, как червяков.

Нэцкэ

На льду Амурского залива
Торчат, как нэцкэ, рыбаки —
С носами сизыми, как слива,
С рубцом пунцовым в полщеки.

Вот малый в митенках-перчатках.
Спасая крохотный крючок,
Он роется во рту зубатки,
Как стоматолог-новичок.

А вот еще одна фигура,
Монументальна, как божок:
Тулуп, унты, два самодура
И пара корюшек у ног.

И все иные самураи
Глядят с тоской за оком.
Там небосвод белеет с краю,
Там алый диск блестит на нем.

Про Куросаву

Здесь, над рекой Уссури, справа,
Стоял Акира Куросава
И вдаль глядел. Пред ним река,
Словно пластины плавника,

Вздымала голубые льдины.
И думал он: «Иной картины
От этих мест я и не ждал —
Здесь человек велик и мал.

Здесь, как реке свободной дамба,
Кладет предел желаньям амба,
Неистребимый дух тайги.
Мы с ним друзья, а не враги

Отныне». Глухо скрежетали
Перед Акирой льдин скрижали,
Фотопластины бытия,
В котором побывал и я.

ДОНАШИВАЯ ЖИЗНЬ

**Дорога в Дальнегорск и обратно с
чтением книжек Лысенко и Бродского**

1

Лес в октябре
весь
придорожный,
весь
прям и светел, словно гимн.
Пора нам становиться строже
к себе, конечно,
не к другим.
Другие пусть
живут, как люди,
что, выбрав меньшее из зол,
в эмалированной посуде
несут соления
на стол,
а после, накатив по сотке
и звонко хрумкнув
огурцом,
беседуют о пользе водки,
когда с морозца
да с мясцом,
другие пусть...
На то и осень,
чтоб,
дотянувшись до небес,
всю мишуру и мелочь сбросив,
открыть себя,
как этот лес.

2

Стоит река вечерняя,
как будто ночь в окне.
А где ж ее течение?
Наверное, на дне.
По дну путем извилистым,
наверное, течет.
Пускай темно и илесто.
За это и почет.
Другие, шибко бурные,
несутся кувырком,
с коленцами, с бурунами,
с прибитым топляком.
Другие, шибко резвые,
бегут из лога в лог,
ломаясь, точно лезвие,
о первый же порог.

3

Таежные березы
среди сосен и осин, —
как будто вышли босы
в одежде из холстин
к обочине дороги,
где едет лесовоз,
где горные отроги
прозрачны от берез.
В чужих краях обозы
порастеряв в пути,
таежные березы,

куда теперь идти?
Одни вы во Вселенной,
одни на всей Земле,
как спасшийся из плена
народ, чей край — в золе,
как спасшийся из плена
единственный народ,
до сотого колена
свой сохранивший род.

4

Рыжий лес, с рыжцой камыш,
с легкою рыжинкой поле —
этот мир и вправду рыж.
Этот мир, он рыжий, что ли?
И ему охота тож
окупнуться в позолоту,
даже если это ложь
и кустарная работа —
вроде рыжего ежа
рощицы у края пашни,
на которой, словно ржа,
проступает пал вчерашний.

5

А в предзакатный час
земля красна, как Марс,
как Марс, она багрова,
и это словно знак,
что предстоит нам снова

конец и вечный мрак.
Ну а пока вот так:
оранжевый песок
на склоне темно-буром,
несущиеся фуры
и ветер вдоль дорог,
и вьющийся, как волос,
закат, и тишина,
и солнце, словно Фобос,
и Деймосом — луна.

**Перечитывая Давида Самойлова,
одного из последних импрессионистов**

1

Проходят беды и несчастья,
Как катаклизмы и ненастья.
Но черт вращает колесо.
И вновь ненастья и несчастья,
И снова я разъят на части,
Как на картине Пикассо.

2

Ты еще молода.
Ты по жизни идешь победительно.
У тебя есть жених,
У которого Porsche
И крутые родители.

Ты маслину кладешь
В подогретый прозрачный мартини.
А за окнами дождь,
Словно у Писсарро на картине.

И ты смотришь в окно.
Там зонты и сутулые спины.
Плакать хочется, но
Не придумать причины.

3

А мир дается в ощущениях.
Он субъективен, этот мир.
И потому все люди — гении,
Когда выходят из квартир,
Когда дорожками метеными
Идут на службу не спеша,
Когда, бия крылами темными,
Над каждым мечется душа.

4

С недавних пор мне интересна смерть,
Хотя и жизнь, конечно, интересна.
Их встреча. Что за время? Что за место?
Небесная или земная твердь?
Пессоа называл ее невестой.
Другие — старой кликали каргой.
И гнали прочь. И дергали ногой.
Или рукой, что также было неуместно.

5

Как тупо начинается весна:
Сначала снег становится черняшкой,
А небо, словно грязная тельняшка,
Полощется меж двух дымящих труб.

И дым одной из них особо груб,
И густ, и черен. Он подобен плоти,
Сей экипажный дым. Опять на флоте
Понтифика не удалось избрать.

6

Весна

Несмотря ни на что

Она гладит меня по голове
Своею шершавой ладонью

Теплой и пахнущей полем

Она утешает меня
Она осушает мои слезы

Она пересказывает мне птичьи сплетни
Ведет меня на прогулку

Согревает меня южным ветром
Улыбается мне по-крестьянски

И пробуждает во мне
Самые лучшие чувства

Дитя обиделось

Дитя, обидевшись, идет в зеленый сад,
на шелкову траву оно ложится.
Его приветствует из поднебесья птица.
Пожалуй, только птицы к нам добры,

по непонятым правилам игры
не требуя от нас прямосиденья,
нековыряния в носу, непенья,
всего, что превращает жизнь дитяти в сущий ад.

Летят по небу синему слоны
белее самой сладкой в мире ваты.
И носороги с бегемотами крылаты
сегодня, и небесное дитя,

обиженное, видно, не шутя —
ишь, губы африканские надуло.
Обижены коровы, козы, мулы,
верблюды виноваты без вины.

Полны обидой табуны коней,
с холмов стекающие в сонную долину.
Трава, согревшись, мягко греет спину.
Коровка божья по листку ползет.

Конечно, все когда-нибудь пройдет.
И взрослые все правы, несомненно,
но как они жестоки и надменны
бывают в вечной правоте своей.

«Свей, птица, мне на дубе новый дом,
дно устели невероятно мягким пухом.
Стань, птица, мне и матерью и другом...»
И птица серю кивает головой,

а желтою — кивает зверобой,
а прочими — все прочие растенья.
Дитя уснуло. Спит и видит сновиденья,
всю жизнь припоминая их потом.

Про Лену Маркову

Целый год в Санкт-Петербурге
Лена Маркова живет,
медсестрою в местной дурке
служит Лена целый год.

Не горда и неподсудна,
потому что не горда,
кому надо носит судно,
что ни спросят, скажет: «Да».

Пряча взгляд, предельно кроткий,
подоткнув цветной подол,
на Васильевском у тетки
в воскресенье моет пол.

Глядя на ее колено,
дядя Коля, инвалид:
— Ты какая-то, Елена,
не такая, — говорит.

... Треплет ветер занавески,
ночь белеет за окном.
Год еще неспящий Невский
будет ей казаться сном.

А потом наступит утро.
В дымке серо-голубой,
отливая перламутром,
встанет туча над Невой.

Чуть похожая на лацкан,
оттопыренный слегка,
встанет туча над Сенатской,
где укажет ей рука.

Медный всадник, вновь готовый
на дыбы поднять страну,
пожалел бы, право слово,
хоть бы девушку одну.

Пусть живет себе на свете,
пусть гуляет в Летний сад.
На конверте Марков Петя
пусть выводит: «Ленин град».

Пусть ей в спину шлют придурки
сумасшедший блеск в глазах,
пряча сальные окурки,
как обрезы, в рукавах.

На самом деле просто все до неприличия

На самом деле просто все до неприличия.
Как некий терапевт (в печенку ВИЧ ему!),
пальпирующий чей-нибудь живот,
то здесь, то там с неясной целью ткнет,
все спрашивая, больно или нет,
вот так же точно ты и сам, поэт,
кладешь на стол злосчастный этот мир,
защупанный, наверное, до дыр,
и отправляешь пятерню в дорогу.
То там, то здесь с неясной целью ткнешь
и все-таки с надеждою вздохнешь:
«Что? Больно?» — «Больно» —
«Ну и слава Богу!»

когда один гладиатор встречается другого
стык в стык
и, как будто голова третьего
по приговору Хаммурапи,
катится в аут то, что всякий пинать привык.

II

Теперь о библиотеке, чьи залы отнюдь не пусты,
где юноши пропитываются знаниями,
как смолою клесты,
где строгие старухи
(ну, чисто мумии в Эрмитаже)
следят, чтобы вертихвостки сидели,
поджав хвосты.

Самое интересное, Овидий,
там даже не количество запятых,
которые некто досужий
посчитал в «Метаморфозах» твоих,
а тамошний квестор,
в прошлом трибун плебейский,
который по привычке считает плебеями
всех остальных.

Зато как удобно: Вокзал и Галерея
почти в двух шагах.
Приехал из деревни, и вот тебе сразу — Шагал.
Не хочешь Шагала?
Вот Пикассо — «Девочка на шаре»
(конечно же, копия,
но весьма похоже на оригинал).

Здесь хорошо пережить
 превращение сумерек во тьму,
медленно соображая,
 куда бы поехать сегодня, к кому,
а главное, как
 (снег валит все гуще, трамбюя машины,
пытающиеся проскочить
 похоронное бюро и тюрьму).

III

Ну и отправишься в итоге
 в кафе с неоновой рюмкой на витраже,
где клиентов встречает
 фейс-контроль на первом этаже,
а на втором,
 если повезет быть признанным на первом,
торжествующий коллега,
 уплетающий бонусное бланманже.

Сядешь рядом,
 полюбишься образцово набитым ртом,
медленно соображая,
 где ж эта улица, где ж этот дом,
и отвалишь, не осилив обжигающий,
 как наждачка,
горько-кислый эспрессо
 и совсем позабыв про белый ром.

Как и год назад,
 на улице этой деревья в два ряда,
как и год назад,
 как-то мгновенно готовится вся еда,

словно ждали, следя,
 чтоб в кастрюле под пельмени
ни на миг не затихала закипающая вода.

А когда пропорционально сытости затихает речь,
начинаешь соображать,
 а предложат ли тебе прилечь.
И, лишь услышав, как сбиваются обе подушки,
прячешь латы на антресоли и отстегиваешь меч.

IV

Теперь о памятниках,
 коим здесь любят менять имена.
Их почему-то все время переносят
 с одного места на
другое. Даже написавшего
 «Ко мне не зарастет народная...»,
законопатили так,
 что теперь не найдешь ни хрена.

Написавшему же: «...под собой не чую страны»,
нашли-таки место, где за десять шагов не слышны
ни машины мычащие,
 ни шарахающиеся пешеходы,
только шелест листьев
 цвета зрелой морской волны.

Здесь, Овидий, можно часами орать,
 не боясь людей:
— А вокруг него сброд тонкошеих вождей!
Даже скорую не вызовут, чтобы свезла в дурку,
не говоря уже о том,
 чтобы просто навесить люлей.

Диссиденты

(Подражание Александру Дольскому)

Хороший фильм про красное подполье
в тылу у нехороших беляков
однажды посмотрев, мы дали волю
фантазии без лишних дураков.

Погожим ранним утром в воскресенье
с таинственной улыбкой на губах,
глотив свободы, видимо, весенней,
мы клеили листовки на столбах.

И клейстер, остывавший в грязных мисках,
бугрился, проступая между строк
«Товарищи рабочие, мы близко!
Держитесь, час расплаты недалек!»

Стрижи по небу синему летали,
был каждый тополь зелен и лучист,
и жал, как одержимый, на педали
в жокейской кепке велосипедист.

И нам казалось, мы достигли цели:
из города бежит последний враг.
Не зря листовки на столбах белели.
...Но что-то было все-таки не так.

Иначе, у столба топчась неловко,
с чего бы вдруг решительным рывком
прохожий не срывал мою листовку,
подписанную правильно — «Ревком»?

Ах, как же наш ревком ревел по хатам,
когда отцы пустили в ход ремни.
И нет бы объяснить, в чем виноваты,
а то в ответ ругательства одни.

Мы позабыли голод и усталость,
когда, как повторяемый урок,
«Товарищи, рабочие...» сдиралось,
скоблилось «... час расплаты недалек».

И дворник, повторявший: «Вот каналы!»,
свой «Беломорканал» тянул опять.
Тринадцать лет прошло, как умер Сталин.
Союз распался через двадцать пять.

Электричества там не было

(из Алваро де Кампуша — Фернандо Пессоа)

Электричества там не было.
Поэтому я читал при свете тающей свечи,
Устроившись в постели,
Первое, что попало под руку, —
Библию на португальском
(что любопытно, изданную для протестантов).
Я перечитывал «Первое послание Коринфянам».

Избыточная праздность
провинциального вечера окружала меня
Многоликим шумом, доносившимся отовсюду,
До отчаяния хотелось расплакаться.
«Первое послание Коринфянам»...
Я перечитывал его при свете свечи,
мерцавшей из глубины древнейших времен,
Великое море страстей клокотало во мне...
Я ничто...
Я вымысел...
Что мною движет, мое ли желание
или желание целого мира?
«Если бы у меня не было милосердия».
Божественный свет с вершины веков
Возвещает мне благую весть,
с которой душа обретает свободу...
«Если бы у меня не было милосердия».
Боже мой!
Но у меня как раз и нет милосердия.

Донашивая жизнь

Донашивая жизнь,
как старое пальто,
не бойся отвяжись
от коновязи милой.
Пусть будет Бежин луг, —
как будто шапито,
взмахнув крылом,
на фуры погрузилось.
Пусть будет луг и ночь,
река и острова,
прохлада обвисочь,
в ногах — костра лохмотья.
Как тонок серп луны,
как пахнет трын-трава,
и кобылица ржет,
когда дают ломоть ей.

До утренней звезды,
до утренней грозы,
внезапной, словно жизнь,
стремительной, как птицы,
дудеть в свою свирель,
из ветра и лозы
юнцам и дуракам
сплетая небылицы.

Владивосток в 2010 году

Восемь офортов

1

Март. Месиво. В пору кататься на танках
по склонам поплывшим,
по тающим спускам.
В зеленых жилетах и серых ушанках
менты как подснежники
на Алеутской.

И воздух, и лужи, и ГУМ, и машины, —
весь мартовский вечер, идущий на убыль, —
все схвачено накрепко,
как крепдешинном
стремительный стан под распахнутой шубой.

Мобильник жужжит,
как весенняя муха.
И вот уже щебет прелестный несется.
Скрипят тормоза. Каплет с крыши. Старуха
с большим одобрением
смотрит на солнце.

Карнизы,
скамейки с облупленной краской,
деревья с шершавой корою,
балконы —
все стянуто натуго,
словно повязкой
ушиб на коленке под черным нейлоном.

2

Рождался мир во тьме и мокр, и липок.
Снег моросил. И синие клинки
с ветвей свисали, словно шейки скрипок,
где с мясом выдраны и струны, и колки.

И нужно было выйти на дорогу,
но прежде обогнуть незримый дом.
А я не знал, куда поставить ногу,
где просто лед, где бездна подо льдом.

Казался город сумеречным холлом,
куда апрель всё зимнее сносил.
И тормозил автобус, как гондола,
шуршащим юзом, из последних сил.

И все вокруг, как патока, сочилось.
И нас везли сквозь бесконечный цех,
где пряжа карамельная сучилась,
а лишнее стекало из прорех.

Готовые, в неоновой глазури,
деревья проплывали вдоль перил.
Вдруг рассвело. И тут же парк культуры,
как торт-безе, рассветом явлен был.

Всю ночь он выпекался-украшался,
фреш-кремом покрывался здесь и там,
красиво по движению вращался
его высокий шестиглавый храм.

А там уже и вечер
раскроет закрома
и станут, словно печи,
румяными дома.

Ну а душе все мало!
По площадям души
проходят карнавалом
танцоры и шуты,

певцы и акробаты,
глотатели огня.
И вот уже закатом
в окно люблюсь я.

Багряным и карминным,
лилово-золотым...
Он тоже род камина,
и вечером иным

в него кладут полешки
и длинной кочергой
мешают головешки
и угольки с золой...

4

На что похож безлистный лес,
безлистный город каждым сквером?
На склад, куда из разных мест
свезли все вешалки, к примеру.

Свезли со всех концов земли
скамейки, стулья и салазки;
лишь одного не завезли
на этот склад — зеленой краски.

До черта лысого белил,
густых, как жирная сметана.
Февраль таким чистюлей был,
а март давился кашей манной.

Хватало краски голубой
и золотой. И где б ты ни был,
январь сушил над головой
небесный купол с ярким нимбом.

И черной сажеею апрель
в три слоя покрывал откосы;
и опускалась аппарель,
и солнце поднимали тросом.

До черта лысого забот!
Автомобильные колонны.
Как парни у складских ворот,
толпятся спальные районы.

И вот — о чудо! — наконец
медянка-ярь — венец завоза.
«Ходчей ключом верти, отец!» —
торопят грузчики завхоза.

Заждались серые дворы
гинье, казали и шееле.
Вот-вот подъедут маляры —
управимся за три недели.

Зеленый мир со всех сторон!
От клумбы до покато́й крыши...

... На охру, сурик, глёт и крон
кладовщики заявки пишут.

5

Июньское небо как женщина в зрелости:
тревогу весь день за улыбкою прячет,
а вечером, сделав последнее дело,
вздохнет и немного о чем-то поплачет.

И вновь улыбается кротко и ясно,
каких бы ни стоило это усилий,
чтоб жизнь не казалась такой уж ужасной,
чтоб сны этой ночью спокойные снились.

... А утром проснешься — оно уже хмуро,
как женщина в гневе, пока еще малом.
И люди по городу ходят понуро,
и чайки, как дети, ревут у причала.

И кажется, больше не будет погоды,
одно прозябанье без счастья и денег...
Но только проклянется солнца зародыш —
как тут же вселенская стирка затеяна!

Вмиг все белопенно, крахмально, подсинено,
на струнах столбов и на ветках развешено.
И снова июньское небо — Аксинья,
со смехом кого-то пославшая к лешему.

...А после вздохнет и немного поплачет...
...А после припомнит случайные радости...
...И в сквере веселые прыгают зайчики....
...И с ветки на ветку... И с ветки на радугу...

6

Словно капля янтарного меда,
закругляется сладкий июль.

И прибоя осевшая сода
вместо волн, убежавших косуль,
и обрывком мушиной липучки
пожелтевшая с краю листва,
и фольгою парящие тучки,
и цветочных оттенков трава,
и аллей тополиных бушприты,
и гнездовья дозорных сорок —
все тягучей жарою залито,
как сиропом вишневый пирог.

Чаепитие в потных Мытищах —
этот вечер, такая тоска,
перевернутых яликов днища
с раскрошившейся коркой песка,
почерневшая клякса медузы,
и чернила в копытцах следов,
и похожий на старого Крузо

наружки лоскуты.
Боже правый, а точнее, неправый,
и почто
такое с нами — ты?

Ветер в кронах лает ирокезом.
Страшно. Дико. Бешено. Темно.
Гром гремит в порту своим железом,
ну и корабельными заодно.

Вот опять бабахнуло за молот!
И аллею накренило так,
словно бочки
с хлынувшим засолом
вбило в борт
и с Роджером веселым
хлестанул
по мокрой мачте флаг.

Гроздья гнева — в небе тучи.
Ярость
мутная клокочет у ворот.
Вот ушел под воду
первый ярус,
и второй ушел под воду
ярус;
мостовая, как река, течет.

Мимо — магазины и аптеки,
рыбный рынок, летний ресторан...
Улицы несутся, словно реки,

и впадают
в Тихий океан.

И уже без всяких аллегорий,
оторвав
от сопки берега,
мы
в открытое
несем море —
целый город
к черту на рога!

Будем обезумевшею птицей
над пучинами
теперь парить,
с волнами бушующими
биться,
по морям, как призраки,
носится
и суда торговые топить...

ВЕРЛИОКА

Явление Верлиоки

Мимо темных дачных окон
в час, когда роятся сны,
ходит-бродит Верлиока,
фиолетовое око
с отражением луны.

Ходит-бродит, словно Каин,
лубяной ногой скрипит,
непричесан, неприкаян,
на душе тяжелый камень —
сто пудов его обид.

Горьким запахом полыни
отдает ночная тишь.
Воет ветер на плотине.
Воют псы.
Кровь
в жилах стынет.
Страх скребется, словно мышь.

Чу!
Ты слышишь?
Близко-близко
мертвой липы мерный гуд.
Тяжело по свету рыскать,
выбирая, как по списку,
тех,
которых не спасут.

Молкнут птицы.
Никнут травы.
Осыпается ранет.
Над рекой у переправы
фиолетово-кровавый
занимается рассвет.

Иванов, Семенов, Борменталь

И вот поднимает он камень, удобный голыш
(какая с утра замечательно хрупкая тишь!),
и вот поднимает он камень с прохладной земли
(какая заря удивительно нежная рдеет вдали,
как девушка). Камень параболу чертит, свистя...
Не плачь, о, не плачь об окошке разбитом, дитя.

На звон медсестрица испуганной птицей летит,
румянец чахоточный сходит мгновенно с ланит,
румянец чахоточный сходит мгновенно на нет —
бледна, словно смерть,

как застигнутый музой поэт.

Зловещий осколок сосулькой сверкает в руке,
и вот уже крики и стоны слышны вдалеке.

С зажатою колото-резаной раной внизу живота
стеклянно глядит в потолок Иванов-лимита,
стеклянно глядит в потолок,

расставаясь с душой,

минуту назад еще наглый, веселый, большой.
Как будто бежал и, споткнувшись, упал на бегу,
кошелку с брусничкой рассыпав на белом снегу.

Больничных березок рябые стволы за окном
лиственной затрепещут, займутся зеленым огнем,
насупится дуб вековой, помолчит и вздохнет,
и слышно, как в небе, снижаясь, летит самолет,
где в первом салоне, над книгой зевая, как лев,
Семенов замрет, что-то в круглом окне разглядев.

Там снежной равниной без края лежат облака,
там всё еще тихо, там всё еще мирно пока,
но ангелы белые к ангелам черным гурьбой
уже подлетают, уже вызывают на бой.
И вот она, битва! Сверкание сотен мечей.
А он в это время распластанный, голый, ничей.

Распластанный, голый, ничей,
весь в наколках и швах.

Нишкните, глаголы!

Здесь хватит наречия «швах».

А впрочем, а впрочем, забыв о наречии «жаль»,
«Живучий, ублюдок!» —

промолвил хирург Борменталь.

Сказал, как отрезал ненужные метры кишки.

Спустился во двор,

подбирая к ступенькам шажки.

Стоит, прислонившись к столетнему дубу спиной,
во рту папираса, в глазах — любованье весной,
зеленым пожаром, сиренью, похожей на дым,
вставляемым в раму

салатным стеклом листовым

и первой, его обновившею каплей дождя,

которая кругло сползает, почти не следя.

Почти не следя за идущим на землю дождем,
стоит Борменталь, ловит кайф,

растворяется в нем;

видения роем проносятся в сонном мозгу:

кентавры пасутся на белом стерильном снегу,

кентавры (до пояса конь, а потом человек)

пасутся, роняя зеленые яблоки в снег.

Завещание

И двум смертям бывать, и трем, и четверем.
Знакомый бизнесмен из поздних нуворишек
раз восемь в год по новой завещанье пишет,
хотя забот и форс-мажоров выше крыши.

С утра запрется в кабинете и корпит,
как будто коллекционер какой-то.
Червяк сомнения, должно быть в нем сидит
и точит изнутри. Как дрель, сверлит.

Он вспоминает каждый взгляд косой,
некстати сказанное слово вспоминает.
Черновиков при этом не сминает —
на компе пишет; если что, стирает.

В слова чеканные он облакает мысль.
Пусть не из тех она, что манит ввысь.
И не из тех, что светит, словно мыс
Надежды Доброй. Но зато витает.

Вот тут-то он ее и облакает
в чеканные слова, как сукин сын.
Как будто с узким горлышком кувшин
бесценным ядом кобры наполняет.

...Кому-то — ювелирный магазин.

...Кому-то — беспробежный лимузин.

...Кого-то без особенных причин
на нищету и голод обрекает.

...Кому-то крохи с барского стола.

...Кому-то баснословная удача.

Вот, скажем, некая
вчера вдова
была.
Хоть мужнин долг
она не принесла,
зато стонала громко,
чуть не плача.

Ночная история

Пахли дымом березовым снежные дали.
Над деревней дымы, как султаны, вставали.
Егерями, которым тревожно в дозоре,
обозначились ели высокие вскоре.
Он с проселка свернул и пошел по дорожке,
доедая последние хлебные крошки.

Дом из темного теса стоял на отшибе.
Он зачем-то сказал: «О, майн гот, о майн либен».
И щеколдою звякнув, калитку толкнул.
Местный гаер, пугающий галок на дыбе,
в поздних сумерках был безнадежно сутул.

Куст рябиновый рядом, как после расстрела,
разметался, пронзительно-алый на белом.
И одними губами, как лось осторожный,
рвал он ягоды, пар из ноздрей выпуская;
были ягоды сладкими и подмороженными;
он глотал их, оглядываясь и икая.

Пахло дымом березовым, свежим навозом.
Тьму разрезал далекий гудок тепловоза.
На крыльцо он взошел, постучал что есть силы
в дверь, обитую стеганым дерматином,
покосившись на рядом стоящие вилы.
Дверь открыл пожилой и угрюмый мужчина.

Глухо цепь заворчала у будки собачьей.
Пес пролаял свое, пятясь в будку по-рачьи.

В небе звезды мерцали. Клубилась луна.
Он стоял, от хозяина буркал не пряча.
Словно эхо в колодце была тишина.

Тишина их вела через черные сени.
Тишина зацепилась ногою за веник.
Тишина половицею скрипнула тонко.
Тишина простонала печною заслонкой.
В тишине, собираясь с остатками сил,
он глядел на огонь и, зевая, курил.

Словно губка, его заскорузлое тело
собирало в себя все, что долго хотело;
в нем тепла наконец-то раскрылся бутон;
сняв бушлат, наконец-то расслабился он;
наконец-то заметил, что возле окошка
дочь хозяина крупную чистит картошку.

Мерно ходики шлепали, словно бы Тосной
плыл, трубою дымя, пароход двухколесный.
Вновь рассвет над зеркальной рекою вставал.
И огонь, как младенец, в печи лепетал.
И полено березы в шипящих слезах
занялось... почернело... рассыпалось в прах...

...Осторожно, любуясь луной голубою,
словно родинкой над помертвевшей губою,
и с улыбкою, тронувшей краешки губ,
возле крайней избы постоял душегуб.
То ль землянки чернели вдали, то ль могилы.
Он подальше забросил проклятые вилы.

О Толе Кольцове, художнике и поэте

Да и не знал я его почти, Толю Кольцова,
художника, который к тому же писал стихи.
Так, пару раз пересеклись
на каких-то культуртрегерских посиделках.
У него была такая аккуратная
эспаньолка с проседью
и по-собачьи грустные глаза.

Особенно грустными они у Толи Кольцова были,
когда он на какой-то поэтической сходке
вышел на трибуну почитать свои стихи.
Простые такие стихи
о пробуждении весеннего леса,
о долгожданной оттепели,
о том, что,
как бы щепки с просеки ни летели,
нас все равно не вырубить до конца.
(На дворе стоял громогласный май 1986 года).

Стихи были написаны
классическим пятистопным ямбом,
классически ясным языком Тютчева и Фета.
Толя Кольцов никогда никого не обличал.
Ну, а кого, собственно говоря, может обличить
автор нейтральных пейзажей?
Речушку, скромную Золушку промзоны,
за то, что криво течет?
Овражек в осеннем лесу за то, что в нем ни-
как не зарастают следы железных траков?

И тогда на трибуну взбежал
какой-то вихрастый обличитель,
отодвинул Толю Кольцова даже не плечом,
а одним только молодым и задорным взглядом.
И начал крыть правду-матку
про всех и про вся, про всех и про вся,
недвусмысленно намекая на то, что время
глубоких подтекстов и фиг в кармане
кануло в Лету. Что отныне все вещи следует
называть своими именами.

Толя Кольцов посмотрел на слушателей
по-собачьи грустными глазами,
пожал плечами
и сошел со сцены.
В спину ему, когда он закрывал за собой дверь,
летели долгие продолжительные
аплодисменты, переходящие в овации.
Народ в зале жалел только об одном, —
что кроме левой и правой щеки
других каких-либо щек на лице
не предусмотрено.

С этого момента,
как мне теперь представляется,
и начался самый печальный,
самый трагический период
в жизни художника и поэта Толи Кольцова.

Он ходил по унылым неубранным улицам
бомжеватого города,
вдыхая ароматы первой весенней мочи

и сыгравших в ящик кооперативных помидоров,
заходил в книжные магазины,
единственные, где можно было с толком
потратить деньги,
пил с друзьями случайную водку,
заглядывал на рынок, словно в гости к сказке,
впрочем, иногда что-то покупал там,
один апельсин, например, или пучок морковки —
глазам художника требовался каротин,
а душе поэта солнце на подоконнике.

Глядя на апельсин,
Толя Кольцов бормотал стишок
одного давно погибшего поэта:

— Я сразу смазал карту будней,
Плеснувши краску из стакана.

— А ведь он, пожалуй,
в этот момент рисовал акварелью,
констатировал Толя. —

И ни фига у него не получалось.
А что может получиться, если на улице слякоть,
собачий холод,
облезлые собаки
и хромоногие отставные солдаты?
Я бы тоже выплеснул краску из стакана
на давно не мытое оконное стекло.
Освежил бы, так сказать, пейзажик.

— Я разглядел на блюде студня
косые скулы океана.

— Действительно очень похоже, —
покосившись на недоеденный холодец,
подтверждал Толя и делал новое открытие:
— Эге, батенька,
а ведь и вы, пожалуй, тогда испытывали
некоторые финансовые затруднения.
На студень с Хитровки
субвенций только и хватало.

— На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

— А старая любовь, стало быть, ушла? Спусти-
лась по грязной лестнице, очень осторожно
спустилась, подбирая подол узкого платья,
дабы не наступить ненароком. Вышла на
улицу, кивком головы подозвала пролетку.
И укатила, покосившись на свежую вывеску
рыбной лавки, из которой несло тухлятиной
и тиной...«Мария, дай...» Уж не эта ли девица
позже возникла в поэме, которую он на-
звал «Облако в штанах»? — рассуждал Толя,
растирая краски на льняном масле. — Как
там у него? Долой вашу любовь, долой вашу
мораль, долой вашу религию, долой ваше
искусство! Нечего сказать, очень по-мужски!
Баба не дала, так и сразу все долой, гори весь
мир синим пламенем.

— А вы ноктюрн сыграть смогли бы
на флейте водосточных труб?

— Как два пальца об асфальт, — усмехался
Толя. — Как два пальца об асфальт.

Под утро он съедал свое солнце с подоконника,
выходил на улицу, брал в руки палку,
напоминавшую тамбурмажор,
и, принимая парад водосточных труб,
с размаху лупил по каждой.

С шумом и грохотом проносился сверху вниз
ворох ледяных осколков,
звонко чокающихся друг с другом на выходе.
Вот таким образом Толя Кольцов
и исполнял
на бис
для неспящих воробьев
мартовский ноктюрн водосточных труб.

Вот так Толя Кольцов и
протестовал время от времени,
рискуя быть задержанным ночным дозором.
Вот так и он жил, этот самый Толя Кольцов,
художник и поэт.

Так он и жил.

И так прошло еще десять лет.

Настала очередная весна
с особо затяжной оттепелью.

Толя Кольцов все ходил и ходил по улицам
города-доходяги, города-бомжа —
в поисках свежих сюжетов
для своих нейтральных пейзажей
и чего-нибудь покушать.

И, кстати, на чешуе жестяной рыбы,
венчавшей пропахшую тухлятиной и тиной
торговую точку,
Толя Кольцов однажды прочел зовы новых губ.

Эти губы, слегка пухловатые и оттопыренные,
как у задыхающейся плотвы
(будущая расхитительница гробниц Лара Крофт
в то время еще училась в Театральном
институте Ли Страсберга, стеснялась своей
худобы и одежды секонд-хенд,
коллекционировала ножи и время от времени
наносила порезы на свое юное непорочное
тело) принадлежали 17-летней Анжелике
(так, по крайней мере ее называл грузчик Шу-
рави, слегка припадавший на правую ногу).

Анжелика торговала рыбой,
неумело обвешивая и обсчитывая покупателей
(ее то и дело ловили за руку).
Толя Кольцов однажды заступился за нее
(«С кем не бывает? Каждый может
ошибиться при подсчетах»).

Так они и познакомились.

Анжелика приехала
из далекого таежного поселка,
скрытого от Большой Земли
грядой совершенно диких гор.
В этом поселке вся жизнь вертелась вокруг
единственного предприятия —
горно-обогатительного комбината.

С недавних пор комбинат перестал
обогащать горную породу
и, как следствие,
перестал обогащать жителей поселка,
тем не менее продолжая обогащать
главных акционеров.

Вот мать и сказала Анжелике:

— Езжай, дочка. Устраивай жизнь.

Только смотри там... А впрочем...

— Не будь дурой, — добавил отец.

На что младший брат глупо гыгыкнул

и тут же получил подзатыльник от отца.

Обо всем этом Анжелика рассказала

Толе Кольцову

во время своего первого визита в его
холостяцкую, но довольно опрятную берлогу.
Ради такого случая она украсила уши и шею
сверкающей китайской бижутерией,
взятой на прокат у Нинки Воробьевой,
помыла шею и посмотрела в видеосалоне
«Эммануэль».

Но Толя Кольцов не приставал к Анжелике с
недвусмысленными предложениями.

Он поил ее элитным чаем № 36,

кормил пирожными с маргуселиновым кремом,
ставил для нее пластинку с оперой

«Севильский цирюльник»,

показывал ей альбомы французских

постимпрессионистов

и читал свои стихи.

В том числе то самое,
про «щепки летят».
Ей понравилось.
Так она сказала.

Слушая стихи,
Анжелика внимательно рассматривала квартиру,
как учил ее Шурави,
от входной двери по часовой стрелке,
стараясь запомнить,
что где стоит,
какой марки телевизор,
имеются ли у секретера
запирающиеся на ключ секции,
и так далее.

— Шурави, представляешь,
у него есть компьютер! —
шептала голая Анжелика, нежно целуя каж-
дый шрам на его теле.

— Компьютер стоит хорошие бабки, —
отвечал Шурави,
вплетая неровно сросшиеся пальцы
в огненные волосы Анжелики
и устремляя затуманенный взор
в грязный потолок своей льготной однушки.

— А вообще у художников должны водиться
бабки, они ведь наверняка продают картины,
— говорил Шурави. —
Давай, девочка, давай, потрудись еще...

И Анжелика трудилась.
Сдерживая зевоту,
она выслушивала новые стихи Толи Кольцова,
а также его рассуждения
по поводу возрождающегося пунктуализма,
старательно училась
печатать на компьютере,
утверждая, что это поможет ей
стать секретарем-референтом
в какой-нибудь солидной компании
(«А что? У меня все данные! И по английскому
в школе пятерка была»).

Для постоянных визитов к Толе Кольцову
У Анжелики был железный повод:
она брала почитать книги,
которые у художника и поэта водились в
большом количестве.
Анжелика их даже немножко читала,
чтобы потом поддержать разговор.

Нельзя сказать, что Толя,
которому едва перевалило за 50,
совсем уж не обращал внимания
на пухлые губы Анжелики,
на ее высокую грудь и стройные ноги.
Просто он знал, что за все надо платить.
Другой вопрос, чем, как и когда?

Она сама однажды спросила,
нет ли у Толи свежего банного полотенца
и свежего банного халата.

О чудо! И то, и другое оказалось
в холостяцкой берлоге Толи.

... А когда все закончилось
(очень быстро и очень сумбурно),
Толя решил принять ванну.

Там, в ванной, все и произошло.

Шурави рассчитал правильно.

Во-первых, Толя не слышал,
как Анжелика открывала входную дверь,
впуская Шурави.

Во-вторых, лежа в ванной,
трудно сопротивляться человеку,
чьи опытные руки методично погружают
твою голову в воду.

В-третьих, прикид, хотя и поношенный,
но вполне фирмовый,
не пришлось потом с коченеющего трупа
стаскивать.

Денег в запирающейся на ключ
секции секретера, правда,
было не так уж много.
Заплатить водителю,
нанятому для перевозки компьютера
и двух чемоданов со шмутьем,
впрочем, хватило.

Осталось еще на пару бутылок водки
и кое на какую закусь.

Шмотки Анжелика с утра раскидала
по рыночным подружкам
(оперативники потом без особого труда
собрали все вещдоки,
используя наводку Нинки Воробьевой,
стукачки на доверии).
Взятые наугад книги чохом за сущие копейки
были проданы одному знакомому букинисту.

А вот с компьютером неувязочка вышла.
За эту подержанную рухлядь
нигде хорошей цены не давали.
В конце концов Шурави,
расчленив эту железку,
не долго думая, выбросил ее по частям
в мусоропровод.
В мусорной камере неделю спустя
оперативники все и обнаружили.

О том, как погиб Толя Кольцов, поэт и художник,
я узнал из протоколов допросов,
которые мне дал почитать
один следователь прокуратуры.

Зарешеченные окна его кабинета выходили
на брандмауэр соседнего здания.
Кирпич был каким-то неестественно-бордовым,
в частых выщерблинах.

— И за что погиб мужик? —
повторял все время следователь,
довольно молодой человек. —
За бутылку водки, по сути...

Толя Кольцов, кто ты? Щепка,
которую унесло по речушке промзоны
смутных времен?
Затупился топор,
соскользнул,
осталась косая отметка
там, где брызнула щепка
и запахло свежей смолой.
Нынче что-то весна не торопится
к нам в палестины.
Может быть, потому что рубить,
как считается,
лучше зимой.
Толя Кольцов, поэт и художник,
ценитель Дега и Россини,
как и все мы, родился ты невпопад,
ибо,
даже если не рубят лесов в России,
все равно
во все стороны
щепки летят.

Мадругада*

Больному стало легче в пять утра.
Впервые он не требовал дать яду,
не повторял, что суки — доктора.
Сквозь форточку со скрипом со двора
тянуло свежестью. Стояла мадругада.

Впервые за последний месяц-два
он поглядел на всех привычным взглядом
и произнес обычные слова.
Тьме за окном шептали дерева
гекзаметры. Стояла мадругада.

Он попросил налить томатный сок.
И пил, и улыбался тем, кто рядом.
В окошке проблесковый маячок,
как будто фиолетовый зрачок,
мерцал таинственно. Стояла мадругада.

Он свежую рубашку попросил,
вбирая грудью мяту прохладу.
И отдыхал, и набирался сил.
И доносился шелест птичьих крыл
из-за окна. Стояла мадругада.

И страха ядовитая игла
из сердца выскользнула, как луна из сада.
Пробило шесть из своего угла.
И он сказал, что боль почти прошла.
И боль прошла. Стояла мадругада.

*madrugada (порт.) — ранее утро; время с 4 до 6 часов утра.

После дождя

Вдруг представилось:

дом деревянный с верандой,
с водостоком, заправленным в бочку с водой.

И сиреневый куст, в зелень сада, как панда,
то ли по уши влез, то ль ушел с головой.

И пионы, такие румяные дурни,
подбоченясь, на стеблях мясистых стоят.

Чай накрыт. И нарезан дымящийся курник.
И в шмелях, будто в крошках, зареванный сад.

И пронзительно синее небо над садом.
Всюду небо: в распахнутом настезь окне,

в проводах, протянувшихся вдоль автострады,
в рыжей бочке с водой, в недопитом вине.

Это небо, как джинн, может быть, где угодно,
хоть в кувшине, чье горлышко уже всего,

но зато уж, когда это небо свободно,
ничего на земле не удержит его.

Северокорейская ракета

Между левым берегом и правым
здесь несется горная река,
и в два роста вдоль дороги травы,
и картошка толще кулака.

Здесь был ем и беленой-травую
стежки и дорожки замело.
Здесь порой такие ветры воют,
словно рядом база НЛО.

Здесь в пространства меж крутых отрогов
вставлены крестьянские дворы.
Жизнь?
Словно за пазухой у Бога.
Щедрые таежные дары.

Круглый год рыбалка и охота.
Ягоды, орехи и грибы.
Здесь у всех «Ниссаны» и «Тойоты»,
и у всех «тарелка» у избы.

По ночам потомки староверов
смотрят голливудское кино,
ну а если пьют, то зная меру,
в основном французское вино.

Вон его как раз несут со склада
через коридор в торговый зал.
Это супермаркет «Чего надо?»,
он опрятен, хоть и очень мал.

Не стесняйся, попроси калачик
и запомни, милый человек,
перегонщикам японских тачек
здесь необязателен ночлег.

Здесь ночами страшно одиноко
пришлому без бабы и вина.
Здесь, как фиолетовое око,
в синей туче красная луна.

Здесь рассвет над перевалом тонок,
здесь, напившись вволю из ключа,
солнце, как пятнистый олененок,
залезает в дебри кедрача —

чтоб оттуда огненные знаки
на закате кинуть на поля,
где в июне расцветают маки,
а в июле зреет конопля.

В этот дикий угол Края света,
что людьми и Богом позабыт,
северокорейская ракета
разве что однажды залетит.

6

А город вблизи и вдали, по верхам и внизу
насупился, точно готовится встретить грозу.

События грозные зреют: какой-то мудака
на черном «Паджеро» уже что-то сделал не так.
Водитель автобуса руль крутанул не туда...

... А он в это время на крыше торчит, вот беда.

7

Под ним — ускользающий в темень
колодец двора.

Над ним — храбрый стрижа, говорящий:
«Пора, брат, пора!

Мы вольные птицы»...

8

...И вот он встает.

И делает шаг. И еще. И еще шаг — вперед.

И, руки, как крылья, раскинув, стоит на краю
и тихо стрижу говорит: «Мать твою!..»

9

А стрижа отвечает:

«Так что ж ты, брателло, притих?

Никак не всплывает, а где же оставил ты их?

Забыл в кабаке, опрометчиво сдав в гардероб?

А может, обрезали парии мрачных трущоб?

Иль в парке дремучем, скрипучем,

как старый корвет,

Проклятие

(из Стефана Корчевского)

В детстве очень страшную старуху
я увидел как-то из окна.
Нос крючком, и шрам, ползущий к уху,
родинка под носом, будто муху
выплюнула только что она.

Был июнь. И тополиным пухом,
как лебяжьим, покрывался двор.
Отвернувшись и собравшись с духом,
снова поглядел я на старуху
с подбородком острым, как топор.

Сердце билось. Гулко отдавалось.
Стуком нарушало тишину.
Что за фея, за какую шалость,
с нею так жестоко рассчиталась?
За какую детскую вину?

Почему по жизни, точно платье,
что на ней топорщится горбом,
носит до сих пор она проклятье?
Должен ли ее расколдовать я?
И куда я поскачу потом?

Музыкантик, Загорелый, Кандидатка

А называлось это чудо музыкантик.
Он к радиоле был приколот, словно бантик.
Его мы к уху подносили в кулаке.
Он почему-то на свободу не стремился.
Не жалил то есть. Несмотря на то что бился.
Звенел отчаянно, как ястребок в пике.

Пронзительную песню несвободы
Мы слушали. Какие были годы!
Из каждого раскрытого окна
какая-нибудь музыка звучала
по вечерам. Но, видно, было мало
нам, музыкантиков ловившим допоздна.

Теперь, когда в свой верный эмпетришник
могу я закачать два гига с лишним,
где персональный Гайдн,
и Моцарт,
и Гунно,
теперь, когда вся Музыка ушла в подполье,
где для нее воистину раздолье,
теперь мне, право слово, все равно,

какая власть под бой каких курантов
каких куда гоняет демонстрантов.
«Прощальной» приближается финал —
и по хрен мне все ваши погребушки,
и то, за что вручают побрякушки,
и то, как бьются люди за металл.

С сумою на ступенях магазина
замру... Ах, Керубино, Керубино!
Ах, как ты забираешь высоко!
Туда, где облака, чей путь неведом.
И я шепчу за Велимиром следом:
«Мне мало надо...» — хлеб и молоко...

Порою бьюсь, но никого не жалею.
Сажусь в автобус — суеты скрижали
разматывает город за стеклом.
Вдруг с воли залетит в автобус муха.
Жужжит, наверно. Вертится над ухом.
Но все же отстает, махнув крылом.

Другое дело — музыкантик милый.
Какое время, говорю вам, было!
... Недавно в Интернете прочитал,
что музыкантик — это пчелка-трутень.
О сколь недолог век его и труден!
О сколь трагичен дней его финал!

Игра природы, партеногенеза,
всем школьным установкам антитеза,
оторва, безотцовщина, изгой...
— С утра до вечера мы пашем, словно пчелки,
доверху набиваем наши полки,
а он тут брюхо набивает, ишь какой! —

гудел трудолюбивый майский улей.
И вот он вылетал оттуда пулей.
По улочкам и дворикам кружил.
Цвела сирень, и яблоня, и груша.
Звук радиолы под окном он слушал,
пленительные запахи ловил.

Своими многогранными глазами
он видел все — и то, как над кустами
склоняются, притихнув, пацаны,
и то, как забиваются костяшки
в стол доминошный, как дрожат рубашки
на бельевой веревке и штаны,

как Загорелый возится с запаской,
поглядывая на него с опаской,
чумазым пальцем указательным грозя
и продолжая двигать монтировкой
вдоль обода не очень-то и ловко.
А, между прочим, совершенно зря.

Бояться пчел мужчинам не пристало.
Тем паче тех, кто не имеет жала,
кто даже сам себя не защитит.
Бездельник, трутень, паразит природы, —
ни воска от него потом, ни меда,
ни яда, если вдруг радикулит.

— Ишь, как выводит, шельма, тонко-тонко!
— Ну, что, дружбан, разжалобил ребенка?
— Теперь чеши! Свободен... словно дым...
— А в небе копулирует он с маткой, —
очки поправив, молвит Кандидатка. —
Оттуда не вернется он живым.

... И все же он летит за нею следом
туда, где облака, чей путь неведом,
не ведая, что после будет смерть;
летит над жизнью примул и настурций,
летит, рожденный от любви загнуться,
но прежде — песню несвободы спеть.

На улице Лескова

Возвращались мужики с шабашки —
заходили в хату на Лескова,
заходили, чтобы водки выпить,
водки выпить — что же тут такого?

Выпить водки, купленной у Нонки,
выпить горькой, выпить непаленки,
обсудить проблемы мировые,
пока дома сушатся пеленки.

Говорили жены малым детям:
— Сколько можно! Чтоб им было пусто!
Сжечь бы развалюху на Лескова,
А бомжей так порубать в капусту!

Говорил Егоров-участковый
главному бомжу Партайгеноссе:
— Генка, а на кой у бабки Насти
сперли кабыздоховые кости?

Говорил Партайгеноссе хмуро:
— Эта бабка Настя — просто дура!
И мерцал в зубах его прогневших
крохотный рубиновый окурочок.

И курились розовые дали,
и скрипела старая береза,
и стоял Партайгеноссе хмурый,
и небритый, и почти тверезый.

И стояли в стороне, осклабясь,
Сыч и Падло, Тощий и «Каспаров»,
шкет приبلудный да его девчонка
(баба Зоя в хате помирала).

Говорил им проповедник ярый,
методист из церковки кирпичной:
— Нелюди! Антихристово семя!
Гром небесный вам и Божья кара!

И всю ночь на улице Лескова
гром гремел и молнии сверкали,
и всю ночь на улице Лескова
на поминках Зойкиных гуляли.

И скрипела старая береза,
и хрустели выбитые стекла,
и шумел камыш, и все на свете
до основ и до корней промокло.

И качалось озерцо, как чаша,
и проселки стали, словно каша,
и хлестало, как в борта ковчега,
в стены, что качались, как телега.

Говорила Портупейко Катя
мужу Константину Портупейко:
— В ночь такую надо ж было шляться!
Да к тому же дома ни копейки.

Улыбался Портупейко Костя,
ухмылялся, пьяная скотина,
мол, а если пригласили в гости,
на поминки? Слышишь, Катерина?

Катерина горестно вздыхала,
с мужа сапоги она снимала,
всю одежду, мокрую и в глине.
Не ложилась до утра, стирала.

Просыпаясь, есть просили дети.
Прекратился ливень на рассвете.

Только прилегла, глаза сомкнула —
в дверь стучат. — Кто там? — Егоров, Катя!

Говорила понятая Нонна
репортеру «Правды Заозерья»:
— А потом свезли нас на Лескова.
Ох, не знаю! Ох, кровищи море!

Говорила Нонна, говорила,
причитала жалобно и тонко:
— А троим вообще башку срубили.
А уж как глумились над девчонкой!

Говорил Костяну Портупейко
следователь Павел Никодимыч:
— Ты давай колись без промедленья.
В принципе ясна уже картина.

Говорил сокамерник угрюмый:
— Раскололся? Ну, ты и придурок!
И мерцал в зубах его прогнивших
крохотный рубиновый окурочок.

Говорил сокамерник: — Сказал бы,
сами, мол, друг друга порубали.
— Я б сказал, да ничего не помню.
Только как вторую допивали.

И глядел он в тесное окошко,
где томилось небо за решеткой,
где залетный голубь, словно в клетке,
бился, а потом затихнул кротко.

Явление Верлиоки 2.0

Вдруг какая-то птица по небу промчалась,
вдруг какая-то ветка в саду закачалась.

И опять тишина, тишина и покой,
комариная ряска над сонной рекой.

Вдруг какая-то рыба плеснула в затоне,
вдруг к какому-то звуку прислушались кони.

И опять ни души на версту или две,
не считая кузнечиков в пыльной траве.

Вдруг какое-то облачко — серым комочком,
вдруг какая-то капля — отрывистой точкой.

И опять небеса как постиранный флаг;
но всё как-то иначе, немного не так.

Вот какая-то птица по небу промчалась,
вот какая-то ветка в саду закачалась.

И уже прокатилась волна от межи
и метнулись тропинки, шурша, как ужи.

Вот какая-то рыба плеснула в затоне,
вот к какому-то звуку прислушались кони.

И уже загудели верхушки дубов.
Лес очнулся — качнулся, к отлету готов.

Вот какое-то облачко — серым комочком,
вот какая-то капля — отрывистой точкой.

И уже зарябило, и стог на лугу
заметался, как путник, попавший в пургу.

Мчатся птицы, в саду осыпаются сливы,
и качаются рощи, и треплются гривы.

И дугой прогибается черный затон,
словно там, как вулкан, пробуждается Он.

Будут черные тучи царить над землею.
Будут черные вихри носиться стрелою.

Будет ливень стенать и стоять, как стена.
И припомнится людям любая вина.

Майская баллада

1

Был месяц май. И первое тепло, —
такое настоящее, густое,
как донный мед, — над первым травостоем
висело, будто жар от НЛО.
Всё птичье невеличье звонко пело.
Добро торжествовало то и дело.
Обламывалось то и дело зло.

Звучали в парке старые качели
тягуче, как на спуске тормоза,
и мерно, словно в фильме «Кин-дза-дза!»
космическая музыка Канчели.
И май глядел на всё во все глаза.
Плескалась небосвода бирюза,
ресницами помаргивали ели.

2

Сиреню окрыленные дворы
всё порывались полететь куда-то,
и, словно в «Бесприданнице» Паратов,
борзел шалман окрестной детворы.
И в окнах, умножающих просторы,
мелькали, как на плоских мониторах,
похожие на наш антимир.

Прохожие туда-сюда сновали:
кто по делам, а кто за колбасой.
И, как состав хоккейный запасной,
старушки на скамейке ворковали,

довольные наставшею весной,
и тенью тополей, почти лесной,
и тем, что никого не закопали.

3

Всё повторяли: «Эко повезло...»
и дружно опасались Божьей кары...
Тут как нарочно человек с футляром
альтовым появился. Тяжело
вздыхнул. Поправил бабочку устало,
лицом похож на Вилле Хаапасалло.
Футляр качнулся, как в воде весло.

И будто сноровистую байдарку,
альтист захожий развернул себя,
петляя в пышных лужах, что, рябя,
шуршали, — развернул, нырнул под арку.
А в лужах голуби купали голубят,
и, словно Фирс ливрею, хвост до пят
влача, какой-то сизый грозно шаркал.

4

Шаги, машины, голоса, листва,
дверные петли, пенье горловое,
проем, и потолок над головою
так высоко, что кругом голова.
И запах то ли краски, то ли плова
с курдючным салом. Далее — ни слова.
Здесь пауза, в окошке синева,

заминка с незнакомыми ключами...
Как душно! Поскорей открыть окно,

чтоб хлынул свежий воздух, как вино
из гурджаанской бочки, с обручами!
Чтоб завертелось, как веретено,
всё, чему быть отныне суждено,
как говорят, наверно, англичане.

5

Под сенью белопенных облаков
в окне напротив мама мыла раму,
не ведая ни страху и ни сраму,
одетая в бюстгальтер и трико.
И кудри в стиле среднего барокко
ласкали грудь, и груди как под током
дрожали, образуя молоко.

Два чувака на женщину глазели
со дна колодца тихого двора,
пока не крикнул третий: — Эй, пора! —
из-за руля фисташковой «ГАЗели».
— И так мотаемся, как бобики, с утра.
К тому ж я обещал еще вчера
Тамарке завезти хмели-сунели.

6

«Хмели-сунели. Хмели... Где там хмель?
И где сунель? И что это такое?
Какая разница? Мне по фиг. Я спокоен.
Дыханье ровное. Я вижу только цель».
Цель — хмель, хмель — цель. — Скрип
проржавевших петель
оконных и навстречу, как свидетель,
влетевший с улицы великолепный шмель.

— Оса! Оса! — вдруг закричали снизу.
— Руками только не маши, братан!
Замри! — И замер двор, и замер кран
на стройке рядом, замер голубь сизый
в полете, замер воздух, как нарзан,
упавший в общепитовский стакан...
И только зайчик шарил по карнизу.

7

И только меднолобая оса,
шипя, шурупом ввинчивалась в воздух...
И вздрогнул мир! Миры его и звезды,
планеты с голубями в небесах.
Как астронавт, не ощущая веса,
он из кабины выплыл. Словно месса,
звенящий космос втек в его глаза —

тех самых восемь тактов Нино Рота,
а дальше не понять, не разобрать,
лишь напоследок вопль истошный:

— ... ма-а-ать!!!

И всё. Смещенный угол поворота
планеты вокруг оси. Теперь вращать
себя по-новому ей предстоит опять.
В зрачках стеклянных отражалось что-то.

8

В зрачках стеклянных отражался мир,
такой смешной и кукольный, по сути:
деревья в черных мантиях, как судьи,
а самым главным — уличный сортир,

и прочее вокруг такого ж сорта,
продукт брожения в дьявольской реторте,
бессмертия прокисший эликсир.

«Он, этот мир, по сути, развлечение
для тех, кому постичь его дано,
цветное, в лучшем случае, кино.
Немногое имеет в нем значенье:
месть; сила ветра; принцип домино;
удобно ль расположено окно;
и есть ли черный ход для отступленья».

9

Играли цветом груши впереди,
как будто нацепили панагии.
И голуби толпой, как в «Ностальгии»,
из арки выпорхнули, словно из груди
святого Павла. Шли куда-то люди:
кто по делам, кто взяв рубец на студень.
И обещало радио дожди.

И обещало воскресенье скуку,
сон до обеда, завтрак после сна.
А по бульварам шастала весна,
и уличный альтист, судя по звуку,
успел пригубить скверного вина.
И пахла гильзой желтая струна,
когда он так сгибал вторую руку.

Душа на рассвете

1

Душа на рассвете по небу летела —
искала, свободная, новое тело.

Десятые сутки являлись на свет.
Земные, конечно. Там времени нет.

Там вечнозеленые листья на ветках
и птицы поют, потому что не в клетках,
и бродят, по пояс в траве и цветах,
Енох, Илия и улыбчивый Рах.

Там в лоне Авраамовом словно в кибуце,
где праведным смехом над нами смеются.

Там город, где речка Живая течет
и блещут двенадцать жемчужных ворот,
поэтому улицы вечно рассветны,
хотя их строения ветхозаветны,
в одном из которых и спрятана Суть...

Оттуда душа и отправилась в путь.

2

Но прежде чем выбрать, душе предстояло
сошествие в Ад — ни много ни мало.

Ей дали, конечно, какую-то нить,
но чтоб, оборвав ее, всё позабыть.

Забуть свое старое дряхлое тело,
а прежде, как слепо оно и немело,

как плакало, пело, питалось икрой,
пыталось увлечься хотя бы игрой,
улечься вдвоем под одним одеялом,
как солнце над ним то и дело вставало,
сияло, сверкало, и грело, и жгло,
как было ходить по земле тяжело,
зато как легко на рассвете леталось,
парилось — без крыльев, без тела —
виталось,
как запросто было свободной душой
весь мир обнимать, бесконечно большой.

3

Но нитка оборвана. Прямо у входа.
Теперь над душою пещерные своды.
Багровые отблески. Пламенный свет.
Бездонное эхо. Здесь времени нет.

Здесь вечные муки. Здесь в гнойной коросте
друг друга ласкают гниющие кости.
Здесь истины истин, темны, как леса,
друг друга не слышат, сорвав голоса.
Здесь души, познавшие мерзости плоти,
становятся слизью в Стигийском болоте.
Здесь тот, кто невиннейших агнцев алкал,
давась, пожирает свой собственный кал.
Здесь Каина семя, разбросано всюду,
в червей превращаясь, целует Иуду.
Сюда Сатана приглашает на пир...

Отсюда душа возвращается в мир.

4

А в мире весна. Облака кучевые,
грызущие лед берега островные
и ветер такой, что слезятся глаза,
и в каждом окошке как будто слеза.

А в мире весна. Возрождение природы.
Повсюду отходят подземные воды —
бурлят под мостами, от глины красны,
несутся венозною кровью весны!

Повсюду ручьи. Вдоль дороги и в поле.
Земля, как роженица, плачет от боли
и счастья...

... Роженица юная спит,
улыбкою рот ее полуоткрыт.
И мальчик, уткнувшись в одну из черешен,
до срока невинен, до срока безгрешен.
Когда еще вспомнит о будущем он?
Глубок и возвышен младенческий сон.

Пророк

Что за время! Волкодав и волк!
... По углам поют сверчками свечи,

и простынки маслянистый шелк
шепчет вскользь об участи овечьей.

Словно скатерть белую факир
выдернул рывком из-под сервиза,

наступила ночь и вздрогнул мир
и вспорхнули голуби с карниза.

И туман над городом парит,
словно сон, приснившийся Исайте.

И с деревьев, как с кариатид,
пряжами белесыми свисает

не туман уже, а мелкий дождь.
По углам поют сверчками свечи.

Агнец божий, неужели ждешь?
Город за окном своих увечий

не скрывает: фонари без глаз,
пустыри, овраги, развалюхи,

плети оголенных теплотрасс,
вдоль дорог обрубки, будто шлюхи,

своры маргиналов и собак,
труп одной из них, вчера убитой.

Церковь на лопате, а в кабак
с вечера набились содомиты.

Пляшут диким скопищем козлиц,
вывернувших шкуру наизнанку.

«Каждый — пуп Земли, точнее, прыщ,
А еще точнее, гнойный шанкр.

Надоело! Хватит! Не хочу
ваших отбивных с невинной кровью,

подносимых, словно палачу,
заодно с продажною любовью.

Не хочу ни сырых, ни чумных,
простирающих с мольбою длани, —

«Даждь нам днесь!» Ни ваших выходных
не хочу, ни ваших отпеваний,

ни крестин, ни прочих щедрых треб
от мздоимцев и отцов разбоя.

Самый черствый, самый черный хлеб
Преломить бы мне с самим собою,

Да не выйдет...» А вокруг толпа
бесноватых, пьяных, оголтелых

вкруг шеста, как будто вкруг столба,
на котором распинают тело.

Водопад распущенных волос,
по холмам сбегаящий на лоно, —

как шатер из виноградных лоз,
как шалаш, как город осажженный.

«Ничего честнее наготы
нет, когда под платьем язвы прячут,

а глаза надменны и пусты.
С этого мгновенья — быть иначе!

Темя выбритое, оголенный срам,
вервием охваченные чресла

вместо всех нарядов аз воздам,
вместо всех вечерних и воскресных.

Серьги с мясом вырву из ушей,
отберу и звездочки, и луны,

ожерелья сдерну с длинных шей,
перстни, кольца из носу у юных

вырву, склянки, полные духов,
отберу, запястья и увясла,

епанчи отборнейших мехов,
все сосудцы с благовонным маслом.

Жалобней и тоньше драных сук
будете скулить в ногах мужчины

и ловить губами плети рук,
содрогаая от ударов спины.

И когда отмоеет скверну кровь,
и когда огонь пожрет Геенну...»

— К вам вернется прежняя любовь! —
дописал и поглядел на стену,

и добавил ниже: «Се Пророк»
(по углам сверчками свечи пели),

и шагнул, и вышел за порог,
и пошел, куда глаза глядели...

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Летние дожди

Косые днем,
как серые прищепки
(дерюжка неба
кем-то позабыта).
Березы в перепачканных балетках.
Карнизы как дырявые корыта.

Вечерние,
синюшные до дрожи,
шарахнутые
желтым залпом окон...

Ночные —
невидимки с мокрой кожей.
Пунктиром сухожилий и волокон.

Дожди, дожди...
Уже как постояльцы...
Почти хозяева. Их нравы. Их привычки.

Дни солнечные можно счесть по пальцам,
как на бегу вагоны электрички.

Запрыгнешь на последнюю подножку
с внезапной сноровкой малолетки,
протиснешься,
скорей прильнешь к окошку,
а там —
опять косые,
как прищепки...

Японский бог

В. Казакевичу

Японский бог давно живет в России.
Давно уже глаза его косые
от ужасов увиденных круглы.
Углы,
скитаясь, он снимает в городах
или в поселках. И в потемках
раскладывает скарб
рукою неуклюжей, словно краб.
А после скромный ужин
поглощает. Здесь он никому не нужен.
Куда ни сунется,
все, будто чувствуя подвох:
— Куда ты прешь, японский бог?!
И вмиг в глазах его собачье-детских
и удивленье (без обиды), и вина.
И он, как чудик из рассказов Шукшина,
по вечерам сидит на бугорке
спиной к закату
с палочкой в руке.
И пишет на песке
послания своей японской маме,
которая живет в Иокогаме,
но ветер злой,
прикинувшись золой,
стирает их...
Да и зачем японцам Бог?
Все заповеди носят они в сердце,
янтарном, словно нэцкэ.
Милосердья в их крови
как у иных эритроцитов,
хотя порою уровень любви
зашкаливает так, что...

Вот лечу я в самолете

Вот лечу я в самолете,
подо мною облака,
если б я служил на флоте,
подо мною, глубока,
гладь морская бы качалась,
как зеленое желе,
и она бы называлась,
например, Па-де-Кале,
тут французы, там британцы,
их туманный Альбион,
тут гороховые танцы,
там процеженный бульон
с жженым сахаром — от пуза
ешь себе и не чихай,
тут британцы, там французы,
Лемузен, далекий край,
где когда-то лемовисы
рыли золото в горах,
то, которое актрисы
гордо носят на пирах,
ведь когда ревет галерка:
«Браво!» или, скажем: «Бис!»,
по груди, крутой, как горка,
пот ручьем стекает вниз,
что за славная работа —
дурака всю жизнь валять,
будто спрыгнуть с самолета
и по облакам бежать,
ах, как здорово бежится

по крахмальной целине,
сверху глянешь — снизу птицы
словно рыбы в глубине,
машут крыльями для вида,
а вокруг уже вода,
и Земля, как Атлантида,
не вернется никогда.

Играет доктор Марешаль

Играет доктор Марешаль
в белот у друга,
а Марешальша вяжет шаль
и ждет супруга.

Мелькает крыльями амур,
а также спицы —
и здесь, и там сплошной ажур
у мастерицы.

Пруды и рощи на стене,
кусты камелий
и продолжением в окне
пейзаж Марсея.

Пролетка, пролетая вниз,
исчезнет в шторке,
и только слышно, как сервиз
звенит на горке.

Золя и Мопассан глядят
из Застеколья.
И пахнет уксусом салат,
такой свекольный!

И нету запаха острей
у этой жизни,
где процветает канарей
в любой отчизне,

где слабый форточный мистраль
едва ль опасен,
где даже доктор Марешаль,
как Бог, прекрасен!

На рассвете

Хватит прошлое ворошить!
Лучше — угольки в костерке.
На рассвете такая тишь...
Тихо шлепает по реке
то ли бакенщик с похорон,
то ли сам Харон...

Не видать ни хрена — туман
по-над поймою, мешковат,
кто-то, вправду, двигает к нам.
Слышишь, весла гребут впопад?
А костер-то почти остыл...

... Да нет, вроде мимо проплыл...

На закате

На закате ходит парень
вдоль расхристанных ворот.
— Кришна Кришна, Харе Харе, —
под гармошку он поет.

В огородах зреет вишня,
словно пламенный засос.
Песня добрая о Кришне
девок трогает до слез.

И по-доброму косится
на гармошку местный мент.
Над горой закат Жар-птицей.
Над трубой луна как цент.

Трактор едет по дороге —
клекот слышен вдалеке,
и ацтек в своей пироге
славно чешет по реке.

Остановится, закурит,
нацарапает пером:
«Пусть сильнее грянет буря!» —
на пергаменте сыром.

И, любясь пиктограммой
и закатом впереди,
четко выколотый Рама
улыбается с груди.

Развивая Сарاماго и Левитанского

Есть у Жозе Сарاماго, Нобелевского лауреата,
стихотворение под названием
«Смотри, Фома, твоя птица улетела прочь!».
Вот просто взяла и улетела. Неизвестно куда.
Но явно куда-то.
Это ясно, как божий день,
и еще яснее, чем божья ночь.

Там вначале Некто предлагает Фоме
к воде спуститься,
мол, пойдем, Фома, к самому краю,
вишь, как в воде играют язи.
Мол, посмотри, Фома,
какие у меня получаются славные птицы,
которых леплю я из собранной мною
прямо здесь жирной, густой грязи.

Обрати внимание, говорит он Фоме,
как это легко и просто
придавать форму телу пичужьему,
голову лепить, ловким щипком
вытягивать клюв, перья хвоста,
соизмерять длину лап с размахом крыльев,
со всем ее ростом.
Кстати, сколько будет птичек,
Фома, ты не догадываешься о том?

Ладно, подскажу, их будет
больше одиннадцати, скажем, двенадцать

птиц из жирной, густой грязи:
одна, две, три, четыре, Фома, считай,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять, одиннадцать, двенадцать
птиц из собранной мною прямо здесь
жирной, густой грязи.

Далее Некто предлагает Фоме
дать имена этим птицам.
Эта пусть будет Симеон, эта Иаков,
эта брат его Иоанн, эта Андрей.
А вот эта — Фома.
Если процесс изготовления птиц продлится —
по поводу новых имен
появится много новых прекрасных идей.

Далее Некто в духе легендарного
престижитатора Акопяна
говорит Фоме: «Смотри,
теперь я на птичек набрасываю сеть,
чтоб не улетели.
Если, конечно, в наших планах
нет такой задачи,
чтобы позволить им взлететь»...

А далее он начинает
Фоме откровенно мозги парить.
(Здесь у Сарاماго
довольно замысловатый кусок).
Некто говорит Фоме:
«Значит, ты хочешь сказать мне, парень,
что если вот эту сеточку

поднять вот эдак наискосок,
то птички не улетят. И этим
ты, щучий кот, намерен уличить меня во лжи?
Да или нет?
Что значит, и да и нет?
Что ты мямлишь, как обоссавшиеся дети?
Ты давай прямо, как мужик мужику, скажи!»

А далее мысль облекается
в сеть сослагательных наклонений —
прошое сослагательное,
настоящее сослагательное,
будущее сослагательное
и, разумеется, кондициональ, —
мол, лучшим доказательством было бы,
если бы ты сеть не сбросил,
но при этом был бы лишен сомнений
в том, что, если бы сбросил, то птицы
немедля умчались бы в небесную даль.

Что за бред, отвечает Фома, они же из глины,
как они могут взлететь,
что за дурь, что за блажь?

А ты попробуй, сыне, попробуй!
Разве не летают порою глиняные кувшины?
Разве не из глины был сделан Адам,
прародитель наш?

Адам, тот самый,
что передал тебе искру Божью...

Не сомневайся больше, Фома! Подними сеть.
Это я говорю тебе, я, Сын Божий.
В конце концов, чем ты рискуешь,
если считаешь, что птицы не могут взлететь?

Движением быстрым
Фома сеть решительно сдернул!
И птицы, свободные, ринулись в небо,
невообразимый щебет подняв.
Сделали пару кругов над толпой зевак,
над стеной крепостною, обложенной дерном,
и скрылись в пространстве небесном.
Некто оказался прав.

Вот тут-то он, то есть Иисус,
и сказал свою знаменитую фразу:

— Смотри, Фома, твоя птица улетела прочь!

Вот просто взяла и улетела.
Вот так взяла и улетела сразу.
И это было ясно, как божий день,
и еще яснее, чем божья ночь.

И отвечивал Фома:

— Нет, Господь,
птица здесь, пред тобой на коленях,
согнувши спину.
И целует край твоего плаща,
твою руку, пахнущую речною тиной,
словно птица, попавшая в сеть, трепеща.

Велесовы арабески

1. Листва

О, эта первая листва,
Пронизанная майским солнцем,
Трепещущая, как Литва
Перед нашествием тевтонца.

О, как несмел еще пейзаж,
Штрихи изломаны и робки,
Как будто главный карандаш
Лежит на самом дне коробки.

И только лебеда-трава
Среди камней царит монголом.
Что ей какие-то права
Тех, кто воюет за престолы!

Сегодня королует клен,
А завтра тополь спозаранку
Волочит мантию на трон,
Шурша серебряной изнанкой.

2. Увертюра

Майский лес — травяного цвета,
А еще — золотого света,
А еще — пятнистых теней
Вроде яблок на крупах коней.

Всё гнедые, каурые, пегие...
Табунами в стремительном беге
Бьют копытами, гривы полощут
На ветру придорожные рощи.

... А порою и вправду дремучи,
Ибо дремлют, на лоб нахлобучив,
Тучу серую, словно треух.
Вот и день незаметно потух.

Незаметно наставшие сумерки
Кое-где подмалеваны суриком.
Оттого-то и кажутся мне
Декорацией к пьесе «На дне».

3. Плащ

Дождь барабанил по стеклу,
Как человек, задумчиво.
Хороший плащ висел в углу,
А не какой-то Гуччи вам.

Как трепыхание леща
В глубокой лунной заводи,
Рукав прозрачного плаща
Под дождь июньский звал один:

«Вот так же некий херувим
Тогда по свету хаживал.
А люди что? Все похер им.
За это Бог накажет их.

За это в ритме рваных стоп,
Лавинный, словно конница,
Всех смоем мировой потоп
И сам, как сволочь, смоемся».

4. Дождь

Каждый день вымывает дочиста
Каждый лист, каждый ствол, всю траву,
Словно тот, кого только по отчеству,
Если что-то случилось, зовут.

Каждый день принимает заявки
От полыни, сирени, ольхи.
И до блеска садовые лавки
Драит, словно смывает грехи.

И всю ночь во вселенской лудильне
Чем-то пахнет и что-то гремит.
И река, как драчевый напильник,
В лунном свете ребристо блестит.

И рассвет над землю слоится,
Как пластины уральской слюды,
И парят кверху лапками птицы
В перевернутом мире воды.

5. Кстати

Власть поэту не нужна.
У поэта есть жена.
Даже книжка деньги класть.
На хрена поэту власть?

Власть поэту не нужна.
Есть Господь и Сатана.
Можно — ввысь, а можно — пасть.
На хрена поэту власть?

Власть поэту не нужна.
Есть Вселенная, одна.
Есть одна Вселенной часть.
На хрена поэту власть?

Власть поэту не нужна.
Есть смычок и есть струна,
Вдохновенье, сила, страсть.
На хрена поэту власть?

6. Гроза

Три цвета: молодой листвы,
Сухой земли и неба грозового.
Вот-вот начнется! Он уже идет на вы.
Ни головы нам не сносить, ни крова.

Три звука: гром как будто сносят дом,
Гром словно что-то вырывают с мясом,
И, наконец, тот самый главный гром,
Когда кругом бабахают фугасы.

Три выстрела: серебряной стрелой,
Потом еще одной за нею следом,
Потом — картечью... Что творит с землей
Старик Бартоломе де Эскобедо!

Кладет ее на эолийский лад
И до небес возносит, как в хорале!
Стеною звуки над землей стоят
Из золота, из серебра, из стали...

7. В деревне

Пронизан воздух солнцем и пылью,
Настоян на борце и зверобое;
Поет: «Я выключаю телевизор» — Цой
За ситцевую шторкой голубую.

Пес на цепи следит полет шмеля,
Из дальней рощи дятел часто слышен;
И на проселке в колее земля
Как черепица, сорванная с крыши.

А чуть подальше, где крутой обрыв,
Изогнутая, как змея в соломе,
Излучина реки. Весной разлив
Здесь клокотал в прибрежном буреломе.

Вот здесь весной, кроша прибрежный наст,
Что грузно проседал, на солнце тая,
Ревел он, будто звал на помощь нас,
Захлебываясь, воздух ртом хватая.

8. Через Артем

... И мы решили, что через Артем,
А далее на Горностаи — быстрее.
За поворотом на аэродром
Поля разнообразные пестрели.

Дорога — в обе стороны простор —
Неслась, кювет цепляя правым бортом.
...Какой-то малый удочку простер
Над плавнями — без ног, зато в ботфортах.

...И вот уже Артем вставал вдали,
Заканчивались пригорода дебри.
... Цыгане трех коров перевели,
Свистя бичом, по пешеходной зебре.

Клонилось солнце к горизонту. Клон
Светила по ручью в бочаг спускался.
... Шел путник по обочине, хитон
На щиколотках пыльных развевался.

9. Из Альберту Казйру

Взгляд мой ясен, словно подсолнух.
И когда я брожу по дорогам,
Все, что вижу, мне кажется новым,
Бесподобным творением Бога.

Словно я — несмышленный ребенок
Или даже цветок придорожный.
Головой удивленно качаю:
Неужель и такое возможно?

Верю этому вечному миру,
Как младенец, как лютик садовый.
На себя он моими глазами
Смотрит пристально снова и снова.

Смотрит пристально и удивленно,
Головой, как подсолнух, качает;
Простодушно, как малый ребенок,
Любит всех, а за что, знать не знает.

10. Манга

День хмур. Там хмарь,
Где свет был бел.
Дуб здесь как царь.
Стар, как Макс Шелл.

Дуб сам был юн.
Век. Два. Три... Пять.
Шел брать Рим гунн.
Шел хан Тверь брать.

Тьма. Степь бьет дрожь.
Рек ток. Звезд круг.
Свой свет льет рожь,
Свой — лес, свой — луг.

Свой свет льет Дон,
Свой свет — вглубь тьмы.
Бог здесь. Вот он.
Он там, где мы.

Из пастушьей сумки

(по мотивам Альберту Казйру)

1

Самая главная тайна в мире —
Как на солнце глядеть, не закрывая глаз,
А потом не видеть два черных круга
На всех предметах, окружающих нас.

Два черных круга на всех предметах
Видеть — все равно что искать в них
Тайный смысл, забывая при этом,
Что прежде нужно на солнце взглянуть.

Ибо искать тайный смысл во всем,
Не умея глядеть на солнце, —
Все равно что стаканом ловить поток,
Со стаканом идти к колодцу.

Я не верю в Бога, потому что не видел его.
Если б он захотел, чтобы я в него поверил,
Мог бы броситься прямо сейчас со всех ног
И, как одержимый, стучать в мои двери.

Но я верю в Бога, который здесь
В виде солнца, деревьев, моря, мыса,
В виде всего, что попросту есть,
Не имея никакого тайного смысла.

2

Катилась туча грозовая
По склону вниз с вершины горной,
Катилась, как валун сбежавший,
Сизифу снова непокорный.

Как будто кто-то, кто в мансарде
Живет, открыв ее окошко,
Вытряхивал во дворик скатерть
К восторгу птиц, клевавших крошки.

Шел дождь — дороги почернели,
Как будто их прорисовали.
Еще один валун гремящий
Завис на горном перевале.

Но и когда в разрядах молний
Стал воздух черен, как от гари,
Не ведал страха я, спасаясь
Молитвою к Святой Варваре.

Прося защиты от внезапной,
Нелепой, страшной, ранней смерти,
Почти поверил я в Святую,
Поверил разумом и сердцем.

И мне казалось почему-то,
Что буду жить я долго-долго
На радость милым домочадцам,
Никем не проклят, не оболган.

Туда, где можно отпустить
Все мысли на свободу:
Пускай гуляют по лугам,
Пьют ключевую воду.

Пускай платан им будет брат,
А бабочка — сестра.
Пускай парят, пока душа
Не скажет всем: «Пора».

И вот тогда передо мной
Пусть ляжет белый лист —
Белей, чем белизна сама,
Как сон младенца, чист.

На нем увижу я себя
Сидящим на холме, —
Пастуший посох возле ног,
Пастуший хлеб в суме.

К губам свирель я подношу —
Звук вьется, словно дым.
Пастушьей шапкою машу
Читателям своим.

И, глядя на бумажный лист,
Где буквы как жуки,
Читатель видит луг и холм,
Излучину реки.

Читатель видит пастуха
И слушает свирель.
И понимает, что хотел
Сказать платану шмель.

И кажется ему, что он
Стада когда-то пас.
Не потому ли, что душа
Всегда смелее нас?

5

Живи, говоришь, настоящим,
Только настоящим.
А я хочу жить реальным.

А реальное — это то,
Что не подчиняется времени,
Что нельзя измерить временем.

Настоящее — вещь,
Привязанная к прошлому
И к будущему.

Реальное — вещь,
Равнодушная к прошлому
И к будущему.

Реальное — это то,
На что мы смотрим,
Не думая о нем.

Нужно научиться
Смотреть на вещи,
Не думая о них.

Смотреть на дождь
Как на дождь
И час, и два, и три.

Смотреть на дождь,
Сидя на пороге
Открытой двери.

Смотреть на дождь
И не думать о том,
Когда он закончится.

Просто смотреть на дождь,
Ни о чем не думая.
Пусть это будет первое упражнение.

Косой дождь

Открою дверь и сяду на пороге
Смотреть, как дождь июльский по дороге
На цыпочках, с оглядкой идет,
Подкрадываясь к черному овину,
И как перебегает луговину
Потом, сбивая в гурт пугливый скот,
Как, замерев у мельничной запруды,
Подсчитывает скудные эскудо,
Прикидывая, сколько за помол
Запросит никогда не трезвый мельник
(Тем более, сегодня — понедельник),
Как, во дворе завидев старый стол,
Решает вдруг починкою заняться
И набирает сразу штук пятнадцать
Гвоздей в одну ладонь, пока другой
Поглаживает стол, определяя,
Где лучше начинать, с какого края,
И вдруг решает — ну его! на кой?
Горсть разжимает — и со стуком, гроздью
Роняет на столешницу все гвозди,
Решив: не плотник буду, а швея,
И вмиг листву, как выкройки из кожи,
Прострачивает (после оверложит
Растрепанные на ветру края,
Когда достанет времени на это,
А то, глядишь, случайная карета
Вдруг привлечет внимание его, —
По ступицу на правые колеса
В раскисшей колее присела косо,

А рядом, как нарочно, никого),
И только дождь июльский в чистом поле
Буянствует, как жеребец на воле, —
Припустит рысью, а потом — в галоп;
И нету на него тогда управы,
И стонет, убоявшись, роща справа,
А слева — клевер меж секущих троп.
А он стоит, большой, могучий, главный,
И волосы его струятся плавно,
И блещут грозно синие глаза.
А он стоит почти что на пороге,
Где я сижу, поджав босые ноги,
Ни жив, ни мертв, — а тут еще гроза!..

Прямой дождь

Словно прутья арматуры
он вколачивает в почву!
Кто куда, спасая шкуры,
двое — под навес у почты.

Вездесущее создание:
рыщет, роет и так дале,
словно комиссар Катани
в итальянском сериале.

Словно склеивает скотчем
мира бранные останки,
хлынув из садовой бочки,
вывернутой наизнанку.

Всемогущий Вицлипуцци,
обратившийся в бродягу,
из акаций и настурций
сам себе сварганил брагу

и веселую чечетку
бьет на мокром тротуаре,
словно юная красotka
и в нее влюбленный пареньь.

Все быстрее, все гуще струи
вдоль стволов и стен кирпичных,
словно скачущий по струнам
эскадрон смычков скрипичных.

И уже звенят кимвалы,
и уже гремят литавры!
И приплясывают каллы
у крыльца, как лаутары.

И несутся вдоль дороги
пузыри в канавах пенных,
и мальцов босые ноги
в жирной глине по колено.

Прогулка доктора Марешаля

— Осторожно, — говорит он. —

Это саксонский фарфор.

(Голубая луна над вершинами гор
словно вендский пфенниг, и соловей
сокрушает пространства с крушины своей,
и ручей, словно флейта, вторит ему).

Он выходит. Он видит, что ветер силен —
пробегаёт по кронам, будто волны в корму
бригантине «Мистраль» гонит с силою он.
Он идет по Бельгийской (шумит Старый порт,
пахнет лесом и рыбой; вернувшись на борт,
матросня обсуждает, сколько стоит любовь).
Нотр-Дам-де-ла-Гард видно с точки любой.

Пресвятая с младенцем стоит на часах,
чтобы стен городских не коснулся прилив
в час, когда от заката останется прах,
и, как узник в мешке, будет в сумерках Иф.

— Осторожно, — говорит он

(вероятно, себе самому).

— То ли грязь, то ли... уголь, никак не пойму.

(Голубая луна над Ля Канебьер
будто новый сантиметр; голоса из таверн
раздаются; кто-то запел невпопад;
кто-то громко смеется; аккордеон
заиграл; кастаньетами вилки стучат
по тарелкам). Подходит к концу моцион.

По своим Капуцинам идет он к себе,
понимая, что герпес на верхней губе
означает простуду, а, стало быть, есть
повод выпить. Однако, хорошая весть!

Май мотыльком

Май мотыльком, июнь капустницей,
июль медоточивой пчелкою...
И только август к нам опустится,
махнув крылом над самой челкою.

Ах, август, август, птица, падкая
до спелых яблок, до початков:
рассвет как пенку, день как патоку,
а ночь как зернышки хохлатка.

Чем урожайней, тем отчаянней
мы с ним ворует друг у друга
то помидор, то розу чайную,
хотя один снимаем угол.

Пока мы спим, наш августейший
ведет себя, как Мишка Квакин,
в сад проникая через бреши
в заборе. Что ему собаки!

Он тут же — дождь, чтоб шито-крыто,
чтоб поутру, сверкая сланцами
и напевая: «Чито-грито»,
мы собирали всюду паданцы.

... И вдруг такой потянет свежестью
с реки, не видной за осокой,
что даль покажется заснеженной,
а это — белый свет с востока.

Еще раз о Моцарте и Сальери

А был еще Антонио Вивальди,
рыжеволосый пастор, виртуоз
в игре на скрипке, чей талант возрос,
как буйный одуванчик на асфальте.

Он музыку писал такую, как
сметающее дамбы половодье,
бунтующее, рвущее поводья,
а заодно венецианский флаг.

В ней прежде скрипок вдруг была валторна
и сипло резонерствовал фагот,
как некий путник, заглянувший в грот
в окрестностях приморского Ливорно.

Рукоплескали Мантуя и Рим,
и смелый «Геркулес на Термидонте»
так римлян покори́л, что, только троньте,
вмиг станете врагом смертельным им.

Он был новатор, как сказал один
музыковед, покачивая носом:
«По существу, его концертто гротто
стал пирсом симфонических глубин.

Пятьсот концертов, девяносто опер
И свыше ста сонат... И «Времена»!..»
Прости-прощай, Ломбардская страна!
Пора и нам греметь на всю Европу.

Увы, Европа пушками гремит,
ведя дележку Карлова наследства.
... Он умер в Вене, нищим, впавшим в детство,
на двести лет потомками забыт.

Но музыка его в концертах Баха
продолжилась еще на десять лет,
и далее тянулся этот след,
пока Вивальди не восстал из праха.

Совсем простенькое стихотворение

Спасибо, август милый,
за глубину небес,
за то, что копит силы
для листопада лес,
за то, что где-то в чаще
серебряный ручей —
живой и настоящий,
свободный и ничей.

Спасибо, август щедрый,
за сливы на столе,
за полдень с тертой цедрой,
за сумерки в золе,
за вкус твоей картошки,
янтарной на излом,
за долгий свет в окошке,
когда темно кругом.

Спасибо, август краткий
за то, что впереди,
как линии в тетрадке,
осенние дожди,
за мокнущие крыши,
за лужи у ворот,
за то, что мы напишем,
а кто-нибудь прочтет.

Сентябрьские арпеджески

1. В крематорий

В заброшенном карьере пыль столбом —
С утра чемпионат по мотокроссу:
Под солнцем, в ореоле золотом,
Роятся механические осы.

Дорога вдоль обрыва. Смотрим вниз.
Как глубоко! На дне белеют камни.
Как Долохов, над краем кедр завис
С раскинутыми в стороны руками.

А впереди уже другой вираж,
И дале поворот за поворотом...
... Угрюмо смотрит на паджерик наш
Селянин, поправляющий ворота.

Поселок будто вымер. Тишина.
Сиренью тянет с местного кладбища.
С ячейками квадратными стена.
Дым из трубы. Заката пепелище.

2. Перед тайфуном

Еще наивно светел
Повсюду горизонт,
Но кроны ловят ветер
И бьет копытом понт.

Еще не слышны стоны
В высоких проводах,
Но ловят ветер кроны,
Как ритм токкаты Бах.

Еще для предисловий
Есть верных полчаса,
Но кроны ветер ловят,
Шурша, как паруса.

И тучи, словно скалы,
Летят на нас грядой.
И как сигнал аврала
Сирены где-то вой.

3. Пан

И вот подземный переход,
Через который жизнь течет,
Сбегая по ступеням стертым,
Как будто посланная к черту.

А вот он сам, ледащ и лыс.
В руках свирель, манок для крыс
И для двуногих сердоболов...
Я помню этот взгляд со школы.

Вот так же точно у доски
Глазами, полными тоски
И ужаса глядел он в душу.
Но я в упор его не слушал.

Свисти, осипшая свирель,
О том, что бренной жизни цель —
Хвороба, нищета и муки,
Рождающие наши звуки.

4. Под свирель

Из скорлупы ореха сделал я
Готовый к бурям корпус корабля,
Из спички — мачту, парус — из фольги,
Спустил на воду и казал: «Беги!»

Бумагу взяв, какая подошла,
Журавлика сложил я — два крыла,
Хвост клинышком, чтоб не свернул с пути, —
Открыл окошко и сказал: «Лети!»

Из желудя и веточек сосны
Слепил я человечка для весны,
Для ветра в поле, для тоски в груди,
Дал в руки посох и сказал: «Иди!»

И вот с тех пор он ходит по Земле,
Невесть куда плывет на корабле:
Над ним журавлик, пена за кормой...
Когда-нибудь вернется он за мной.

5. С Маяковским

Город как будто градом побит.
Черные груши на тротуаре
Словно рассыпанный антрацит.
Дождь монотонный — возница-татарин.

По побережью вприпрыжку прибор
Перебегает от пирса до пирса,
И плоскодонки в пене морской
Кажутся пальцами пианиста.

Мокрый асфальт отражает огни
И отражается в мокрых витринах.
Так и рисуют друг другу они
Сюрреалистические картины.

Трафик. Сладкий бензиновый чад.
Пробка у перекрестка Пологой
И Океанского. Дождь всех подряд
Лупит кнутом, расчищая дорогу.

6. Суббота

Идут кто куда. Со времен лангобардов,
Наверное, не было столько исходов.
Забиты кафешки, террасы, веранды.
Великое переслоенье народов.

Сидят до закрытья, что, в сущности, нонсенс,
Когда заведение — шашлычка под тентом.
Пастозные дети, клюющие носом.
Сварливые жены. Мужья-импотенты.

Жуют антрекоты; смакуют карпаччо;
Молдавское тянут иль киндзмараули.
Над ними на облаке боженька скачет,
Готовя, как дроттики, звонкие струи.

А в листьях сентябрьское солнце что линза.
Нет, выше бери, словно гиперболоид!
И режется моря зеленая брынза,
И плавится волн золотой целлулоид.

7. Воспоминание

Как быстро холод входит в душу,
Когда огонь в печи погас.
В палатке я лежал и слушал
Февральских сосен трубный глас.

То рядом — выше на полтона.
То низко — где-то вдалеке.
«Видать, иных, помимо стона,
Нет слов в их странном языке», —

Подумал я и глянул в угол,
Где тент шуршащий трепетал,
Натянутый не очень туго.
Звенел у входа краснотал,

Похожий в сумерках на свечи.
Послышался вороний грай.
Все это были части речи.
Вот только чьей? Поди узнай.

8. Поэзия

Как та вода-водица,
Простая, для питья —
Из крана, из криницы,
Из горного ручья,

Где плачет и смеется,
Ломаясь, лунный свет,
И даже из болотца,
Когда иного нет,

Из придорожной лужи,
Из маковой росы,
Из высеченной стужей,
Оттаявшей слезы,

И на краю Вселенной
С камней, из горьких трав.
В конце концов, из вены,
Зубами разодрав.

9. Из Хини

И, как над обрывом, немея,
С волненьем глядим в небосвод.
Да! Это воздушные змеи.
Их вьющийся водоворот.

Вот так же когда-то ватагой,
Цепляя шиповник густой,
Бежали мы. Просто бумага.
И леска. Гудящей струной.

Над садом. Над лугом. Над рощей.
Рука моя — веретено.
Все дальше, все выше, все тоньше
Душа — золотое руно.

И вот уже крохотной точкой.
Свободы потерянный ключ.
Я тут запинаясь о кочки,
А там я, как ветер, могуч.

10. Сентябрь

Прощай, мой остров Крым, моя Итака,
А, может, Итака, не в этом суть, однако.
Прощай, Сентябрь, блаженный пастушок.
Достань свирель, сыграй на посошок!

Пускай листва, как свадьба, встрепенется,
Когда уже не естся и не пьется.
Пускай пройдетя Солнце колесом
По потолку, который невесом.

Пусть взгромоздятся тучи на вершины,
Как на каруцы черные кувшины,
Тяжелые от терпкого вина,
В котором соль Земли растворена.

Ему теперь храниться по подвалам,
А нам опять все начинать сначала:
На ясеневый лист — и за моря,
На каменистый берег ноября.

Анахориш, Богланд, Клэр

(По мотивам Шеймуса Хини)

1

В камнях петляя,
на осенний луг
стремится он,
хрустальный, чистый, ясный,
родник с горы,
согласный звук
(а там внизу лощина
словно гласный).

И вот зима.
Ночами, как всегда,
созвездья слезы льют,
и утром рано
плетутся тени
хрупать коркой льда
и ведра водружать на табаганы.

2

Когда бы прерии,
где вызревает солнце,
чтоб вечером
скатится,
как под нож...

Здесь
всюду взгляд,

куда его ни ткнешь,
как будто в стену,
в горизонт упрутся.

В тот горизонт,
что давит,
будто пресс
масличный, —
будто кто сжимает веки,
вбирая
в свой зрачок
болота, реки,
холмы и горы,
облака и лес.

Зрачком циклопа
озеро блестит.
Мир перевернутый,
на дне — светило.
И как годичной выдержки текила
вода.
И блики
словно керамзит.

Два солнца здесь,
две линзы,
трижды два
здесь измеренья,
на планете этой.
Здесь елей заболочены скелеты,
здесь уголь
не родится
никогда.

Здесь почвы нет,
лишь видимость,
обманка,
как родничок
на кости теменной
новорожденного.

Шагнешь —

и будто гной
наружу
из-под корочки
на ранке.

Здесь видно,
как слоями,
шаг за шагом,
снимали
наши предки
скальп Земли,
как будто
к некой сути
долго шли...

...вот-вот...

...почти...

...терпенье...

...где-то рядом...

3

И снова ехать в графство Клэр, на запад,
вдоль бесконечных белых камышей,
шуршанием похожих на мышей,
крадущихся к амбару тихой сапой,
и снова день октябрьский как чекан:
в тени — арап и альбинос — на солнце,
и лист на лобовом бесстрашно бьется
с норд-вестом, и срывается баклан
на хрип, когда волна, врезаясь в скалы,
грохочет, как тринитротолуол,
шипя потом, как содовый рассол,
сползая с черных валунов устало.

И снова ехать, дальше, вдоль других
камней, разбросанных по станиоли
воды озерной, режущей до боли
глаза, и все равно увидеть их,
озерных лебедей, чье оперенье
перебирает ветер, как арфист, —
и каждое перо дрожит, как лист,
как будто, перепутав дни творенья,
их сотворили в среду, раньше звезд,
луны и солнца... Словно центр мишени
друг с другом перекрещенные шеи.
Как некий авангардный контрфорс.

И снова попытаться проскочить
по дамбе, словно мышка, тихой сапой...
Как бьются крылья по бокам пикапа!
Как сердцу бьется... Ах, не пережить...

Памяти Антонио Сальери

1

У средней школы стайка воробьев
ругает Зусмана — и так его, и эдак.
Когда ж проходит мимо чей-то предок,
смолкают — слишком взгляд его суров.

А Зусман между тем и вправду крут.
В своем прикиде байкерском не промах,
седлает он «Харлей», сверкая хромом,
и делает пока что пробный круг.

Но как фатально лужицы знобит!
Но как на дубе том звенят пиастры,
Как угасают на газоне астры...
И до весны крест-накрест черный ход забит.

2

Октябрь. Словно птицам накрошено хлеба,
усеяна бронзово-желтым земля.
Как наскоро сбитые лестницы в небо,
на мокрых бульварах торчат тополя.

В наброске небрежно ветвящихся линий
чертой постоянства плывут провода.
Рассвет прибывает, как в сонном заливе
в минуты прибое морская вода.

Листовою опавшею новой притушен
огонь, разведенный у ржавых ворот.
И словно тритон выползает на сушу,
над синими сопками солнце встает.

3

Иоганн Себастьян раздувает меха,
жмет на газ — и в мгновение ока
в глубине алтаря оживает труха,
что копилась с эпохи барокко.

Иоганн Себастьян раздувает ветра
и высоких, и низких регистров.
И в лесу дребезжит на берегах кора.
И гудит он, могуч и неистов.

И на сопках закатная плавится медь
вместе с оловом сумерек. Тает
день, где колокол неба, пригодный звенеть,
Иоганн Себастьян отливает.

4

Лесов предзимних тексты —
наклон суровых строк,
которые, воскреснув,
переписал Пророк.

Не ветры шестикрылы,
не труб древесных глас,
не братские могилы,
а каждому свой час.

Все проще и добротней —
не сразу, так потом:
кого-то в подворотне,
а кто-то под мостом.

5

И белый снег во весь экран,
и черный лес, как чьи-то спины,
и, словно смолкнувший орган,
у края просеки осины;

и на реке таежной лед
с припаем тонким у запруды,
и кочки смерзшихся болот,
как будто спать легли верблюды;

и серебристая куга,
когда на солнце, золотая;
и снег, и лес, и берега,
и света музыка литая.

И снова доктор Марешаль

И снова доктор Марешаль
к обеду, видно, опоздает,
что Марешальше очень жаль —
и потому она вздыхает.

Но что поделать? Долг есть долг.
И если б люди не болели,
узнал бы сей фамильный стол,
что можно сделать из форели?

Как может гусь меняться от
шалота, яблок и шалфея...
И пусть по пятницам белот
Евангелием от Матфея,

и пусть прогулки допоздна,
а после кальвадос украдкой,
зато марсельская весна
бежит к Сен-Жан во все лопатки.

Дез-Каталань и Борели,
и Монредон, и все бульвары,
и Старый порт, где корабли
звенят оснасткой, как гитары, —

все принимает вешний вид.
Как чайка на волнистом гребне,
взлетает сердце. И болит.
И этой боли нет целебней.

В Мажор звонят в колокола.
И звон течет по крышам, тая.
«Ты тоже ведь не сберегла
свое исчадьё, Пресвятая!»

... Лежал он тихо, не дыша.
И всем, кто рядом был, казалось,
что на мгновение душа
местами с телом поменялась.

«В ту пятницу был душный день...»
Каштаны возле Велодрома
ловили собственную тень,
и Марешаль остался дома.

В духе Пессоа

И этот мостик без перил,
и этот воздух как берилл
зеленовато-голубой,
и птица над тобой,
и этот полусонный сад,
где, словно чей-то слезный взгляд,
сверкает в лужице вода,
прощайте навсегда.

Прощайте улицы, дворы,
где, будто пологом шатры,
белье хлобыщет на ветру,
где хорошо в жару.
Прощайте море и песок,
где, будто скомканный носок,
валяется агар-агар,
где ресторан «Дель Мар».

Я уйду туда, где мне
случалось быть не раз во сне,
туда, где горнее село
туманом занесло,
туда, где горняя река
перетекает в облака,
куда летит дымок, вясь,
как между нами связь.

Наше дело

Наше дело — плести небылицы
для работников и пастухов.
Остальное доделают птицы,
дождь, смывающий пыль с лопухов.

Наше дело — звериный и птичий,
и речной, и воздушный словарь
приспособить для мифа и притчи,
как умелось и делалось встарь.

Ну а если не можем и если
не хотим, бо тщеславны зело,
не для нас эти Божии песни,
Богом данное нам ремесло.

ШАДРЕШИ

Шадреш поздней осени

1

– Дай повяжу тебе косынку, дочка!
Кочан от кочерыжки очищай...
Сказав, склоняется над бочкой;
как будто эхо, со двора доносится собачий лай.

И шелестят начетчицы-березы,
роняя долу пожелтевшие листья.
Еще не наступившие морозы
готовятся к паденью с высоты.

И стук ножей доносится из дома:
вот этот вскользь пошел, а этот – вкривь.
Кота-кастрата погружает дрема
в уютный сон, в котором старая Юдифь
склоняется над спящим Олоферном;
собака Шарик крутится у ног;
и словно маятник, качаясь равномерно,
летит к земле березовый листок.

2

– Вот тут он, значицца, и поскользнулся –
с неделю до того дожжыло, с выходных.
А он еще подвыпил, словом, сбился с курса,
за ветки зацепился удочкой, рванул неловко и бултых!

От поплавок кругами, как пластинки,
расходится студеная вода.

Дрожат, как цуцики, осинки.

– Евонный пес, бывало, забежит сюда...

И так весь день: бегущий плесом рыжий пес косматый,
и тень его; и если туча в небе, если ветер, как праща,
тогда дрожат осины, смертным ужасом объаты,
а солнце выглянет – от счастья жизни трепеща.

И тишина, и умиротворенье
нисходит с неба, словно благодать.
Плывет себе, качаясь, желтый лист осенний.
Куда? Зачем? Ах, лучше нам не знать.

3

Пюют в печи дрова. Сорит листвою сад.
Дымится на столе вареная картошка.
И сухожилиями дикий виноград
спускается с карниза над окошком.

И, пропуская свет, как розовую нить,
багровая листва от ветра шевелится.
Как будто за окном повесили сушить
пропитанную кровью плащаницу.

Над лысою горой закат почти померк.
Над речкой полумгла, как хлеб ржаной на стопке.
Иркутский прошумел. Кончается четверг.
И кто-то вдалеке плывет на лодке.

...Такая тишина, что слышно хорошо,
как цепью он гремит, как тянет плоскодонку,
как подзывает пса; как босиком прошел,
прошлепал по мосткам, скрипящим тонко.

4

Полночных липок стон, неплотной ставни стук,
ворчание сверчка, запечный запах гнили;
и голос в темноте: – Мне страшно стало вдруг,
что можно так – всю жизнь – как заживо в могиле.

– Представь, проходит жизнь – вот так – за годом год,
и каждый новый день как будто день вчерашний!
...И вновь скрипит кровать, и снова в стену бьет,
стуча, как метроном, железный набалдашник...

Скорей, скорей, скорей домой, домой, домой!
Туда, где за окном воскресный перекресток
машинами забит, затянут полумглой
и сквозь шуршащий дождь сверкает сотней блесток.

Туда, где со стекла, как смятая фольга,
шурша, сползает дождь ветвящимся растением,
где сумрачный проспект раскинул берега
и тянутся огни, как листья по теченью.

Шадреш предновогодний

Такие дела...

*Курт Воннегут, «Бойня номер пять,
или Крестовый поход детей»*

1

14.00. Прямой эфир.

Поэт читает. Пианист играет.

Астролог, молью траченный сатир,
погибель во спасенье предрекает.

Политик снисходительно суров.

Мисс Город запинается, как в школе.

И эхо никому не нужных слов
взмывает на студийные консоли.

- Алло! Здесь перерыв. Реклама. Бред
обычный. Кстати, средство от простуды.
Ты как? – Температуры вроде нет.
Так, слабость... Знаешь, все же это чудо –

загрипповать под праздник невзначай,
валяться с Прустом, есть пастилки с чаем!

- Люблю тебя! Держись и... не скучай!

- И я тебя люблю. Держусь. Скучаю...

2

Семнадцать ноль четыре. Как всегда,
на выезде с парковки суматоха.

– Куда ж ты прешь?! – А ты куда, балда?!

– Подай назад... еще... Порядок, Лёха!

Направо – руль. Налево – синева,
фасады, перекресток, площадь с елкой.
В движение приходят жернова.
Помалу начинается помолка.

На солнце то и дело золотясь,
мало-помалу с неба сыплет манна.
Уже иллюминация зажглась.
Семь елочек в пуху у ресторана.

– Ты чё, братан, уперся в жопу мне?!
– Так ты же сам загородил дорогу!
«Как сложно все. Как в детстве в страшном сне.
И хорошо. И пусть. И слава Богу».

3

Семнадцать сорок две. Бокал вина
несут уже плюс кофе капучинов.
Свисают хлопья по краям окна,
как простокваша по краям кувшина.

Забавно то, как парами сидят,
едят и пьют под желтыми шарами
фантомы. Потому что снегопад...
– Так что же мы в конце концов решаем?

– А что решать? Я замуж выхожу
и удаляю ваши эсэмэски.
– Что, обломилось твоему пажу?
– Зато он не женат! – и встала резко.

Взметнулся зазеркальный ресторан
столбушкой над завьюженной парковкой.
«Уйти бы в снегопад, как Гунде Сван,
на лыжах и с ижевской винтовкой!»

4

Без четверти двенадцать. Эпилог.
Дом, милый дом. За стенкой спит ребенок.
Поеживаясь, кутаясь в платок,
стоит она и щурится спросонок.

– Ну, как вы тут? – Да ничего, Олег.
А ты? – А я... одно... доделал дельце...
– А мы весь вечер рисовали снег,
потом кино смотрели про индейцев!

«И, правда, снег! Как белую муку
просеивают на пирог сквозь сито».
– Пойду, пожалуй, заварю чайку,
а ты ложись... Я сам... Спасибо, Рита...

– Алло! Не спишь? С пастилками пьешь чай?
Я тоже вот решил напиться... чаю.
– Люблю тебя! Держись... и не скучай!
– И я тебя люблю. Держусь. Скучаю...

Шадреш вертепа

1

Ты смотри, какое чудо:
словно спелый апельсин,
на суку висит Иуда –
удавился, сукин сын.

Будто галстук пионерский
из сатина-кумача,
вьется по ветру премерзкий
язычище до плеча.

Весь москитами искусан,
коих налетела рать,
будет знать, как Иисуса
по дешевке продавать!

Солнце скроется за горкой,
Санта-Крус накроет мгла.
Ах, как жить на свете горько
без родимого угла!

2

Над рекою низко-низко
стая ласточек кружит,
словно асы Франко с риском
атакуют свой Мадрид.

И как будто самый меткий,
ливень косит всех подряд.
Роща манговая ветки
дружно свесила до пят.

Два быка в одной упряжке,
упираясь, тянут воз.
На мастиковой фисташке
распустил шешеу* хвост.

Деревенская простушка
за водой к ручью пошла:
сарафан с веселой рюшкой,
ленты, бусы, все дела.

3

Там, где гибкие лианы
нависают, как мосты,
где четыре игуаны
к небу подняли хвосты,

где в игривом настроенье
по кустам гуляет бриз,
сабиá** где щелк и пенье, –
там сегодня парадиз.

Там стоит нагая дева,
держит манго плод в руке.
Анаконда к ней: – О, Ева!
Будем жить с тобой в реке.

*Птицы шешеу воплощают тьму и дождь; производят грозу; приходят танцевать в дом Ика, владельца Солнца.

**Сабиá-ларанжейра – певчая птица, любимая в Бразилии. Эта небольшая (длина тела 25 см) птица с коричневой спиной и оранжевым брюшком поет приятные песенки и легко приживается в неволе. Сабиа-ларанжейра воспета бразильскими поэтами как птица, поющая о любви.

Слаще красного батата,
и ядреней, чем орех,
но страшнее, чем бойтата*,
этот первородный грех.

4

Дождь пролил свои кувшины
на поля и был таков.
В речке нежатся ундины
белопенных облаков.

Отчего же так печальна
сабиá над сельвой песнь?
В глади озера зеркальной
мир таков, каков он есть.

Если что-то и прибудет –
унесет с собой вода.
Если что-то и убудет –
вспыхнет на небе звезда.

Лебедь белый тянет шею
так, что в перьях – звон и дрожь...
Помолчи, дружок шешеу,
сон младенца не тревожь.

*Бойтата – огненный змей (на языке индейцев Амазонии), по сути, шаровая молния.

Шадреш оборотня

1

Он понял, что за ним следят, не без труда.
Но это не была озерная вода,
которая в кустах красавки в этот час
мерцала в темноте, как изюбриный глаз.

И даже не луна – к ней он давно привык,
седой, матерый волк, хромающий старик.
Он мог бы в этом миг сравнить ее лицо
с зародышами двух сиамских близнецов,

которых формалин прозрачный обволок,
когда бы не спешил к себе, в кленовый лог,
чей вылинявший склон с запекшейся листвой,
во мраке отливал стальной синевой.

Там у него была заветная нора
(еще позавчера он понял, что пора).
Туда тянули нить кровавые следы.
Он должен был успеть до утренней звезды.

2

Он посмотрел в окно: светало, но фонарь
пока еще горел, и был он как янтарь.
Светало, но фонарь пока еще горел.
Стоящий рядом кедр был вылитый мегрел.

«Вот бурка, вот башлык, вот посох, вот кинжал».
– Семеныч, ты не спишь? – сосед ему сказал. –
А мне вот не спалось. Опять считал слонов.
– И сколько насчитал? – Да столь, что будь здоров!

– Не буду. – Не журишь, Семеныч, все путём!
Как доктор обещал, сегодня не помрем.
Сегодня по смертям у них, похоже, план.
Две бабы в эту ночь и маленький пацан.

Я выходил поссать и слышал: ДТП.
Мать за рулем была, фамилия на пэ,
попутчицу взяла, ну и давай болтать!
Мальчонке сорок дён. – Вновь скрипнула кровать.

3

Фонарь еще горел, когда вошла сестра.
Как ангел, но без крыл. Сказала, что пора.
Он поглядел в окно: качнулся косогор.
Потом качнулась дверь, тянулся коридор,

и сотни белых ватт давили, будто пресс,
когда в кромешной тьме незримо он воскрес.
Воскрес и ощутил дыханье на щеке.
И сразу тонкий луч зажегся вдалеке.

Луч плавил темноту со всех ее сторон,
покуда не скатал в обугленный рулон.
И словно ураган, ворвался яркий свет,
раскручивая смерч галактик, звезд, планет.

И тут его объял почти животный страх,
поскольку он держал младенца на руках.
Откуда? Почему? Сбивали с ног хвосты
комет, и свет, как снег, летел из темноты.

4

Был белым-белым снег – до краешка воды
озерной, до леска, до утренней звезды.
Как будто, с высоты спустившись, Гавриил
больничную постель, вздохнув, перестелил.

Был белым-белым снег – до краешка небес,
казался потому висящим в небе лес.
Как некая ладья, которую Творец
еще не знал куда поставить наконец.

Он сам еще не знал, что будет в чаше сей,
он в замыслах еще плутал, как Моисей.
Какие птицы там, и гады, и зверье?
Какая там тропа, кто выйдет на нее?

Куда она его однажды приведет?
Какой там будет град, кто встанет у ворот?
И кто проложит их, глубокие следы,
по снежной целине до утренней звезды?

Шадреш ночного снега

1

Как будто за плечо трясут:
вставай, мол, время наступило,
а то проспишь и Страшный Суд.
– Эй, мила-а-ай!

И в темноте блуждает взгляд,
и различает понемногу
на черном белое – ей-богу,
Малевича антиквadrat!

И вправду, что такое снег?
Абстракция природы, хаос.
Как будто некий человек
изобретает ноу-хау

из ничего, из квивпрокво
еще разрозненных молекул.
Кипит в котле Вселенной млеко,
и непонятно для чего.

2

Но вот светает вдалеке,
и снег, набросанный штрихами,
теперь, как рыба по реке,
сплошными валит косяками.

И чем быстрее бег и лет,
тем тверже берег, сосны, крыши,
пригорков складки, падей ниши
и остов лодки, вмерзшей в лед.

Тем удивительнее сад,
где бледный плод сочится светом,
где вихрем малый звездопад
срывается с ветвей ранета,

где – вот так чудо! – с двух ракет,
укрытых белоснежной байкой,
вдруг листьев прошлогодних стайка
срывается и – чик-чирик – летит...

3

Снег реже, и уже видны
следы, рассыпанные мелко
вокруг размашистой сосны,
в которой промелькнула белка.

Снег тише, и лохматый пес
так громко лает под сосною,
что свет над просекой лесною,
как алюминиевый трос,

дрожит. Хозяин на крыльце
дымит, блестя стальной коронкой:
на плохо выбритом лице
улыбка вечного ребенка.

Хозяйка снегирям пшена
насыплет прямо на дорожку.
А псу в дюралевую плошку –
костей. И снова тишина.

4

Снега лежат, как покрова,
и неизвестно, что под ними:
какая новая трава
весной полки свои поднимет.

Что встанет, злак или сорняк?
Чье по ветру промчится семя?
До наступления весенней
поры так долго, вечно так.

Поселок трубами дымит
на взгорке берега речного,
как чудо-юдо рыба-кит
в известной сказке П. Ершова.

Но снег, белея за окном,
всем намекает на спасенье.
Мол, нынче просто воскресенье.
Мол, с понедельника начнем.

Шадреш ранней весны

1

Завтра март, и зимний воздух
оживает, как родник.
Как же он щекочет ноздри!
Как же щиплет он язык!

Ну, конечно, лед потаял
на реке – и у быков
размороженным минтаем
почернел со всех боков.

И сугробы почернели
и рассыпались в труху,
обнажив осенней прели
золотую чепуху.

Пропитавшись лишней влагой
воздух стал таким сейчас.
Горьковатым, словно брага.
Сладковатым, словно квас.

2

Завтра март, и всюду тени
(ибо солнце на коне) –
продолжением растений
на асфальте, на стене.

Это солнечный художник,
взяв свинцовый карандаш,
срисовать решил сегодня,
как умеет, город наш.

А умеет, как граффитчик
или концептуалист:
взять коробок триста спичек,
сжечь и всё потом – на лист.

И с веселым вдохновеньем
всё потом перемешать:
лужи, небо, ветки, тени,
тени – снова и опять.

3

«Завтра март!» – орет ворона
из нестреляных ворон,
и, змеясь, ветвится крона
вкруг нее, как геликон.

Черный ангел черной ночи
черной совести черней,
черный клюв задрал, пророчит
наступленье ясных дней.

Громогласно, первозванно –
наступленье буйных трав.
Точно в пику Иоанну.
Апокалипсис поправ.

Наступленье краснотала,
воскрешение земли –
та, которая таскала
хлеб и мясо Илии.

4

Март. Венозные верхушки.
Птичий гомон. Синева.
На откосах, будто стружки,
прошлогодняя трава.

Март. Раскисшие дороги,
почерневшие поля:
шаг ступил – цепляет ноги
крепко мать-сыра земля.

На ветру промозглом стынет –
комья вроде синих губ,
что бормочут: «Сыне, сыне,
чем тебе мой дом не люб?

Что ты все глядишь на небо,
непонятной манны ждешь?
Тут себе добудешь хлеба.
Что посеешь, то пожнешь».

Шадреш имени Юзефа Комуняки

1

А знаете, он уже тут (с год, наверно).
Об этом гудела вчера вся таверна
на Ля Канебьер. Он туда заходил.
Выпил абсенту. Икрой закусил.

На нем была куртка с кожаной вставкой,
его борода пахла легкой травкой.
На чай он оставил шестнадцать экю,
у Лолы грудастой спросил ICQ.

С ним, говорят, все его команда.
Пока что тусуются где-то в Андах.
На вилле, что сдал им наркобарон
Пахерос (по прозвищу Дон Гандон).

«Уайту, Реду, Блэку и Пейлу
скучно, Отче, – пишет по мейлу
Майкл-красавчик. – Достал всех покер,
дождь проливной и по телику соккер!»

2

«Отче! С рубашками все о'кей.
Лично я не видал белей.
Шелк натуральный, от Гуччио Гуччи.
С трубами я предлагаю круче.

То есть, что я имею в виду?
Взять австралийские диджериду.
Есть тут один умелец, в Калуге –
делает их без всякой напруги

хоть из сосны, хоть из дуба с березой.
Четкий мужик, некурящий, тверезый.
Молится и соблюдает посты.
Ну а жена! Отче, видел бы ты!

А, может, жениться на русской Машке?
Будет стирать и гладить рубашки.
Будем любить по ночам горячо,
русую голову класть на плечо».

3

«Отче, у нас все давно готово.
Анджей-сдьмой репетирует слово
(мы ему ставим запись грозы).
Ну а дракона зовут Яцзы.

Мы его кормим мышами покуда.
В клетке за ним убирает Иуда.
Начал, мошенник, менять гуано
в местной деревне на план и вино.

Эти пеоны наивны, как дети.
Верят в удачу, в пришествие, в йети,
в сны, в календарь язычников майя –
и болеар их не ломает.

Отче, а может, для развлечения
устроить Всемирной сети обрушение?
Давай для начала в каком-нибудь чате
ссылку подвесим – игра “Семь печатей”».

4

Блещет дорога натянутой леской.
Рядом, как zipper, сверкает железка.
Много цикады цитат из Басё
знают, точнее, практически всё.

Днем он гоняет на мотоцикле,
вечером слушает всякие байки,
темного пива полдюжины взяв,
голубоглазый, по прозвищу Love.

А на закате на пыльном «Харлее»
мчится вдоль поля, где кашка алеет,
словно стигматы на впалой груди.
Слезет, бурьян подожжет и следит,

как занимаются дрок с молочаем,
марь и осот... Головою качает.
В небо посмотрит, тихонько вздохнет.
Тучка появится. Дождик пойдет.

Шадреш первой любви

1

Ну а кого еще любить в такой глуши?
Здесь дождь – событие, а ливень – потрясенье.
Пьют по субботам, а по воскресеньям
во всей округе тишь и ни души.

Уложенные, как карандаши,
почти по росту и почти что ровно,
скучают возле пилорамы бревна
в густой, смолой пропитанной тиши.

Промчится фура с воем по шоссе,
как вихрь, что упакован и загружен;
и с шорохом бумажным листья кружат
на пыльной придорожной полосе.

И шорох продолжается в овсе,
который разбегается волною.
И ты, застывши Лотовой женою,
глядишь с обочины. И василек в твоей косе.

2

Но вот и лес, где ягодные низки,
где солнечные блики на листве
как пятна извести на рукаве
плаща, который на юнце Франциске.

А вот, гляди, похожие на списки
икон старинных блики на коре
дубов и сосен. Бурундук в норе
шуршит. И леспедеца тамариском

покажется на миг издалека,
тем более что сверху облака
густеют, будто сказочная манна.
И лес, такой знакомый, сразу странным

становится, открыв иной букварь,
где клен багрян и золотится ясьень,
где мир до невозможности прекрасен
и потому кладется на алтарь.

3

«В каком краю идешь ты по дороге?
И по какой? Куда она ведет?
Не все ль равно! Однажды, в свой черед,
разутому, тебе омою ноги.

Ты мне расскажешь о единороге,
что был смирен уздечкой золотой.
И будет дождь стоять сплошной стеной,
когда с тобой мы сядем на пороге.

И ты расскажешь, как в пустыне той,
где тек песок, цепляясь за каменья,
ты все же испытал на миг сомненья,
и все же устоял, любимый мой.

И жизнь пойдет своею чередой,
в заботах о тебе, о наших детях.
И будет счастье небом на рассвете,
стрижами и цветущей чередой».

4

Садится солнце. Наступает миг,
когда сквозь листья, будто свет лампы,
слепя глаза не отводящим взгляды,
пробьется луч отчаянней, чем крик!

И лес вздохнет устало, как старик,
и, как старик, уйдет в свои печали,
и, тихо-тихо головой качая,
начнет осот листать свой патерик.

Он тоже помнит, что любовь была,
терпела долго, зависти не знала,
переносила все и покрывала,
и верила, не замышляя зла.

Темнеет. За околицей села
блестит луна, как чистая криница.
И отрокам своим ночная птица
рассказывает про его дела.

КОРОТКИЕ ШАДРЕШИ

Дождь идет

1

Встречных фар гало –
на стекле кляксы,
а само стекло
как лицо плаксы.

Рыжий светофор –
свет по лужам скачет.
Дождь как перебор
чисел Фибоначчи.

2

Новая слеза –
бисером по нитке.
Кажется, гроза.
Как прелюд у Шнитке.

И – на всех парах! –
бешеная тема!!!
... Улицы в зонтах,
будто в хризантемах.

Осень у моря

1

Вот тут она походкой лисьей
прошла над кромкою воды,
оставив на тропинке листья,
как будто свежие следы.

Вот тут, на лысом косогоре,
она сидела, глядя вдаль
на малахитовое море, –
в душе покой, в глазах печаль.

2

И вот берет маляр негодный,
как регент палочку, скребок;
дожди, уже бесповоротно,
бредут на северо-восток;

и солнце щурится дремотно,
и каботаж без парусов
как мастерская по ремонту
заморских солнечных часов.

Клены

1

Шествие кленов
вдоль мостовой.
Сквер, опаленный
алой листвою.

Алою, палою
и пятипалою,
скорченной, порченной,
черной листвою.

2

Факелов шествие
ночью и днем.
Часиков в шесть его
встретят дождем

мокрые улицы –
мокрые курицы,
щипаны, считаны
черным дождем.

Пейзаж с ветром

1

Рывком снимает с рыжих елок
очески туч, как будто войлок
на катанки, сиречь пимы,
в преддверии зимы.

Летит, гремя, на колеснице,
и у прохожих резче лица, —
а вдруг с оттяжкой, от плеча
огреет сгоряча?

2

Чего ты ищешь, дикий ветер?
Кого ты держишь на примете,
чтоб дать с размаху по лицу,
как будто подлецу.

Не прохонже тебе сегодня
всучить кому-то гнев господний.
Поглубже прячем лица мы
в преддверии зимы.

Пейзаж с «Красиным»

1

Осень. Сияние сени,
сонной, кессонной, осенней.
Синее небо. И в сини,
выпятив бок апельсиний,

сочное солнце вальяжно.
Словно кораблик бумажный,
медленно в гавани лужи
лист перепачканный кружит.

2

С ясеня или осины?
Дело его керосином
пахнет – день-два, очень быстро
лужа покроется льдистой

коркой. И холод вселенский
станет на улице N-ской,
как восстановленный «Красин»,
монументально-прекрасен.

Пейзаж со снегом

1

И листопад, и снегопад –
когда еще такое было?
И листья с шорохом летят,
и хлопья. На душе уныло.

Метлою дворник шарк да шарк
с отчаянной такой бравадой.
Качается Покровский парк
на волнах, как фрегат «Паллада».

2

Теплом встречает нас «Fober».
Бармен за стойкой стопкой мерной
вливает в шейкер, например,
ликер «Galliano» из Палермо.

Зал полупуст. Полутемно.
Сидим в кругу, как флибустьеры.
И снег, который за окном,
все падает, не зная меры...

Пейзаж с миртом

1

Этот мир, этот миф, этот мирт
на окне и на фоне заката...
Этот вечер – этиловый спирт
ранних сумерек голубоватых.

Это хитросплетение крон –
сон, сумевший сморить Василиска.
Этот сложенный, как эмбрион,
вяз на склоне, склонившийся низко.

2

Это время, которого нет,
черно-белое Постхиросимье,
этот желтый неоновый свет –
будто медный пятак в керосине.

Этот выгнутый скобкой залив,
отражающий призрак фрегата...
Этот миг, этот мирт, этот миф
о голубке с вершин Арарата.

Седанка

1

Край непуганых печей,
след полозьев, тень от дыма.
Время – медленный ручей –
подо льдом журчит незримо.

Одинокий краснотал
примостился у пригорка.
Ветер возле постоял
и пошел по крышам шоркать.

2

Как надсадно лает пес!
Будто проглотил ворону.
На ночь птицелов-мороз
накрывает сетью крону.

И стоит как лунь она,
пряди свесившая ива.
В небе синяя луна –
прорубь на краю залива.

Оттепель

1

Пейзаж – дагерротип,
деревья серебристы.
Вдали какой-то тип
бежит, гремя канистрой.

Промозглые дворы –
свет желтых окон смутен.
Над лужами пары
как испаренья ртути.

2

Лежащие в воде,
чтоб затвердеть, пластины,
они теперь везде.
Знакомые картины

валяются у ног,
сверкая амальгамой.
Над лужами дымок
как дым из окон храма.

Один

1

Один курит пеньковую трубочку,
Один ладит пастушью дудочку.
Дунет в дудочку – дует ветер.
Ах, как страшно на белом свете!

В эту ночь, ледяную и жуткую,
приюти – до утра ль, на минутку ли –
одноглазого, хромонокого
волка старого, волка без логова.

2

Какая-то вселенская тоска
вселяется внезапно в душу.
Глядишь на все, как сонная треска,
которую прибой втащил на сушу.

А мимо люди добрые идут,
брезгливо отворачивая лица,
и Один одноглазый тут как тут –
в тулупчике, в ежовых рукавицах.

В библиотеке

1

В библиотеке за час до закрытия:
сумерки в окнах – еще один зал
телескопически; будто за нити их,
шарики-лампы. «Ты «Бесов» искал?

Вот они». Прямо сквозь полки – прохожие,
как персонажи замурзанных книг.
Вон промелькнула мерлушка Рогожина,
вон Пугачева тулупчик возник.

2

Ну, Расскажи мне, двойник законный,
кто там плутает, пеший иль конный,
в этой пылящей дворами пурге.
Ведьма ли скачет на кочерге,

пень или волк на обочине замер,
или столбушку промчавшийся «Хаммер»
поднял, иль в венчике белом из роз
ловит мотор опоздавший Христос?

Вот дерево

1

Вот дерево стоит в пейзаже,
допустим, мелколистный вяз
(об этом лучше вам расскажет
ботаник, страшно долговяз,

как Паганель). Прощальным жестом
в январских сумерках застыв,
оно как вырезка из жести,
как затихающий мотив.

2

Метелкой дворницкой расчесан,
промаркирован сотней шин,
тот самый снег, что падал косо,
дорожку в парк припорошив,

теперь почти сошел со сцены,
теперь его почти что нет.
Лишь тянется, как лист драцены,
поземка за поземкой вслед.

СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА

Катрены октябрю

I

Ну, вот, октябрь, мы вновь с тобой одни.
В аллеях листопад софиты гасит.
Плывут по Русской желтые огни,
как по реке Ота торонагаси.

II

Пейзаж как процарапанный гвоздем:
на фоне сопok серебристый тополь,
обугленный серебряным дождем...
Давай, октябрь, к себе по лужам топай.

III

Твой дом – в поселке дачном старый
джип,
который пацанами раскурочен,
обломок ветра – мертвой липы скрип,
сухой колодец да гнездо сорочье.

IV

Здесь по утрам пластается туман
на черных грядках у сгоревшей бани.
Здесь комья, над которыми бурьян,
как павшие от стрел на поле брани.

V

Гляди, октябрь, какое воронье
над краем леса и над полем кружит!
Пуста, как Марс, дорога – вдоль нее
осколки неба в порыжевших лужах.

VI

Сегодня ветер всех своих коней
решил, наверно, выпустить на волю.
Резвится, как мустанг, воздушный змей,
фигурки черные бегут по полю.

VII

Гляди, октябрь, как трогательно мал
цветок на стебельке у края тучи,
которым это небо раскачал
какой-то человечек немогучий.

VIII

И мокнет придорожный бересклет,
и горло прополаскивают птицы,
и в Кневичах бродяга «Суперджет»
на взлетку почерневшую садится.

IX

Вот он ползет, продолговатый змей,
с шипением на мокром скорости гасит,
и отраженья бортовых огней
плывут, как по реке торонагаси.

Катрены на приход тайфуна Болавен

I

Мы ехали, и всё окрест
готовилось к исходу света.
И лес на сопке был оркестр,
игравший шабаш из «Макбета».

II

Гудели трубами дубы,
осины струнами звенели.
Чертили графики судьбы
валторны и виолончели.

III

Вставали рощи, как полки
Макдуфа, мстящего за Банко,
и грозно щерила клыки
порогов бурная Волчанка.

IV

И галки поднимали гвалт,
и туча в солнечной короне,
взойдя на пыльный перевал,
царила в Шкотовском районе.

V

И все теряло смысл и вес,
выламывалось из тенёт и рамок.
Как будто шел Бирнамский лес
войной на Дунсианский замок.

VI

Шли Ментис, Кэтнес, Ангус, Росс,
поднявшие восстанье лорды.
Как через Каменку обоз,
катились дробные аккорды.

VII

И окаянная луна
металась в кронах покаянно,
как сумасшедшая жена
убийцы бедного Дункана.

Регтаймы октября

1

По утрам прохлада,
днем почти жара –
вот и листопада
подошла пора.

Будут будто слитки
листья на просвет,
а потом – как свитки,
где ни слова нет –

все давно истлело,
обратилось в прах,
как душа без тела
на семи ветрах.

2

Как тесто для печенья,
лежали облака,
и было в них свеченье,
неясное пока.

Как будто в час замеса
творец добра и зла
оставил их над лесом,
а сам ушел – дела.

И вот теперь как дети
и ветры, и стрижи,
и почему-то светит,
как рампа, поле ржи.

3

Ну, кажется, тучи поверили,
что солнце для города – блажь:
как будто рисунок на веере,
в косую гармошку пейзаж.

В нем кроны поникшие с каплями,
которые светят внутри,
когда одноногими цаплями
косятся на них фонари,

когда сингапурскими джонками
плывут по Светланской авто...
А дальше все смято, все скомкано,
как фантик в кармане пальто.

4

А гром знай грохочет,
и ливень такой,
как будто из бочек
льется рекой.

Из бочек, которых
огромный обоз
отправили в город,
а гром не довез.

И мечутся клячи,
сиречь тополя,
и обручи скачут,
и в пене земля.

5

На закате октябрьского дня,
на холодном высоком закате,
злые мысли, оставьте меня –
хватит!

На пороге грядущей зимы,
на холодном продутом пороге,
как порой неприкаянны мы
и убоги!

Как нам хочется сбиться плотней,
одиночкам, в нелепую стаю
на закате октябрьских дней –
с краю.

6

Природа отмечает октябрини.
Кругом великолепные картины:
лимонный ясень и карминный клен,
раскрашенный в три ярких цвета склон.

Как будто несравненный Пиросмани
за праздничным столом пирует с нами.
И вот, как Нарикала, хвойный лес
вонзается зубцами в плоть небес.

Их синева подобна наважденью:
куда ни едешь, мчится по движенью
голубкою легчайшая лазурь –
и в мире нет ни гроз уже, ни бурь.

Терцеты ноября

I

Почти зима. На градуснике минус шесть.
Соседский отрок, выйдя, скажет: «Жесть».
И будет прав – нутром консервной банки
зияет подворотня впереди,
как рана колотая на груди.
И голуби взъерошены, как панки.

II

На переходе ждем зеленый свет:
лучовский шарф, малиновый берет,
пальто из драпа, куртка из вельвета,
в наклонный рубчик серый коверкот...
Как все-таки цепляется народ
хотя б за осень, промотавши лето.

III

Ах, лето красное... Когда б не комары...
Похожи на прихожие дворы,
тем более что срезанные ветки,
их кучи, что узлы на переезд,
и тополя линуют все окрест,
как рамы окон лестничные клетки.

IV

Мы не вернемся в этот прежний дом.
Пускай другие обитают в нем,
пусть призраками бродят в час вечерний

среди венских стульев и китайских ваз,
оттуда, где поскрипывает вяз,
туда, где бедный дятел долбит Черни.

V

Пускай проснется кто-нибудь другой
в одной постели с барышней нагой,
холодный пол нащупает ногами,

отдернет штору и посмотрит вниз,
с тревогой покосившись на карниз,
где голубь, как самоубийца, замер.

VI

А нам пора – зеленый свет горит,
и над землю первый снег парит,
как будто белый голубь, оземь грянув,

мгновенно обратился в снегопад.
Летят снежинки, как они летят!
Как будто Пан стрижет своих баранов.

VII

Мой Бог, так ты же этого хотел –
чтоб отовсюду страшный снег летел,
чтоб полквартила – сразу – будто стерло,

чтоб сиплый ветер сек и жег лицо,
и чтобы, как железное кольцо,
шарф ледяной в твое впивался горло.

Терцеты белой трясогузки

I

Сначала он проснулся в два.
Сознание едва-едва
болталось, как на тонком нерве
молочный зуб. Нипочему
тот, внутренний, сказал ему:
«Амиго – друг, гусанос – черви».

II

И вот они уже ползли
из перекопанной земли
по черенку его лопаты,
сковали ноги и живот,
миг – он стоял, как Ланцелот,
одетый в кольчатые латы.

III

И он опять открыл глаза.
Взглянул в окно – там, как слеза,
блестел фонарь, там было страшно,
иначе б ветер так не выл
и Серафим двух главных крыл
так не вздымал над телебашней.

IV

И он лежал, почти что гол,
и словно уголь, жег глагол
его уста, но в сердце хладном

не отзывалось ничего:
он был немое существо –
чертополох (рос, ну и ладно).

V

Над ним летели облака,
и за веками шли века,
пыль над обозами вставала

и достигала до небес,
она была как зимний лес,
прозрачной кальки под лекалом.

VI

И он любил и этот склон,
и облетевший черноклен,
листвы отхарканные сгустки,

и уходящий вглубь кустов
извилистой тропинки шов,
и песню белой трясогузки,

VII

и то, как пелось в ней о том,
что мир осиновым листом
дрожит, что в белой круговерти

плутают бесы, жгут костру,
чтоб не замерзнуть на ветру,
что смерть во сне и есть бессмертье.

Снегу

1

Давай кружи, Кружилин,
по улицам с утра.
Давай круши, Крушилин, –
пришла твоя пора.
Давай верши, Вершилин,
свой беспощадный суд
за все, что совершили
мы ненароком тут...

2

Весь день трусишь усердно сито.
Да нам с того не больно сыто.
Ну, в лучшем случае снежков
налепим, а не пирожков.
Снежков налепим – бой устроим:
через минуту все герои,
а тот, кто раньше всех убит,
в кофейне за углом сидит.
Пьет сбитень суздальский с корицей,
грибной закусывает пиццей
и в ус не дует, сукин сын,
за крайним столиком, один...

3

Куда ты на ночь глядя
в салопчике с дранцой?
Опомнись, Бога ради,
опомнись, Бог с тобой.
Не видишь, люди – звери:
наружу лисий мех,
перед тобою двери
захлопнуты у всех.

И что тебе, сердешный,
осталось в этот час?
Плутать во тьме кромешной,
фонарный щуря глаз?
Ну что ж, давай, Кружилин,
по улицам кружи,
давай-давай, Крушилин,
свирепствуй и круши,
давай верши, Вершилин,
свой беспощадный суд
за все, что совершили
мы ненароком тут...

4

Давай на два голоса,
ты – за окном,
во мраке кромешном,
как деготь, густом,
а я, – на пол сев,
к батарее
спиной прислонившись,
чтоб было теплей,
давай про звезду
серебристых полей,
которая светит и греет.
Давай заводи
потихоньку, старик,
о том, что в степи
замерзает ямщик,
что скатертью белой
дорога,
что снова собирается
вещий Олег
отмстить и что саваном

искристый снег
лежит,
расстилаясь широко.
Давай на два голоса...

5

Ну, что, лежишь? На тонких ветках,
на шишечках литых оград,
на рабицах – провисших сетках,
на крышах, плоских и впокат,
на узких сталинских балконах
обеих «Серых лошадей»,
на мачтах, на скалистых склонах,
на урнах парковых аллей,
на парапетах и перилах,
на фонарях и проводах,
на отъезжающих машинах
на главпочтамтовских часах,
у Ленина на серой кепке,
которая в его руке.
Как будто гипсовые слепки
Ильич сжимает в кулаке...

6

Так проходит
мирская слава.
Будто лес
прошлогодного сплава
почерневших сугробов торцы.
И ручьи врассыпную,
как мыши.
И сосульки
под каждую крышей
словно римской
волчицы сосцы...

Мартовские октеты

I

Снег падал на поля вчера весь вечер косо,
и вот теперь земля и лес простоволосый,
который на холмах, как будто бы в торосах.
Береза. Веток взмах. Обрывки облаков.

И если ты сошел на тихом полустанке,
то будет хорошо пройтись до той полянки,
где лужица блестит осколком желтой склянки,
где воробьев синклит вспорхнул и был таков.

II

И все-таки весна. Двух дятлов перестрелка.
Высокая сосна. Наверх взмывает белка,
как по флагштоку флаг. И греет, словно грелка,
потертый анорак. И солнце в спину бьет.

И все, к чему оно притронется Мидасом,
теперь обречено быть плотью, свежим мясом
иного бытия. А воздух пахнет квасом.
Проселок. Колея. Засохшей глины шрот.

III

А далее – гора, отвесна и высока.
Шуршит сосны кора, как под горой осока.
Скрипит высокий ствол. «Кия!» – кричит сорока.
Мир, как младенец, гол и, как младенец, чист.

Таков, как был до нас. Таков, как будет после.
Сквозь ветки щурит глаз довольный рыжий ослик.
Все правильно, дружок. Мы постояли возле.
Вздохнем на посошок. Как пахнет прелый лист!

Октеты клеста

I

Душа моя пуста, как мартовская роща,
где облака стоят, как в бухте корабли,
где вечер от куста к кусту бредет на ощупь
на огонек клеста, мелькнувшего вдали.
Ах, этот рыжий клест, фонарик рощи мгливой,
собрат далеких звезд и сосен кровный брат,
встающий в полный рост в кустарнике тернистом
голштинского полка отставленный солдат.

II

И что же нам теперь скитаться бесконечно,
чтоб на закате дня, а, может, дней, как знать,
как в запертую дверь случайной чебуречной,
в твердыню скорлупы стучать, стучать, стучать?
Пока не повезет (почти уже некстати).
И так из года в год, кедровую смолой
пропитываясь, как подлесок на закате –
тягучей, будто мед, янтарной полумглой.

III

О сумерки души! Хруст веток под ногами,
размытые стволы, и вдруг один из них, –
отчетливо ребрист, как барабан в нагане, –
у самого лица, и нет уже других,
и где она, тропа? и нет ее в помине,
а если и была, ушла, петляя, в лог,
и вечер, как смола, застыл на ветках синих,
и был ли он, клеста мелькнувший огонек?

Рэндзю на тему стихов Роберта Блая

I

В субботу к Роберту Блаю приехали гости,
на ферму, что в округе Биг-Стоун, штат Миннесота:
профессор Уилсон, историк и политолог,
а в юности хиппи, боровшийся против
войны во Вьетнаме,
жена его (кажется, третья по счету), Ванесса,
моложе его лет на 40, спортсменка и феминистка,
она по отцу, говорят, санти-сиу, по матери шведка,
поэтому ей говорит, улыбаясь, хозяин:
«Gomorrón!»,
как будто настойкой календулы горло полощет.

II

Вчера целый день со своим ремингтоном
охотился он на фазанов.
Изрядно продрог, а под вечер
и ног под собою не чуял.
Присел отдохнуть в чистом поле под ивой,
единственным деревом
где-то на семь, восемь акров сухой кукурузы.
Сидел, слушал, как кукурузные стебли
шуршат. И глядел, как холодное солнце,
легко прожигая промерзшего космоса дали,
в ветвях застрекает и вяло, теряя последние силы,
скользит по древесной коре,
словно пальцы по коже.

III

«Вернулся ни с чем. Кроме насморка», – Роберт гостям говорит, усмехаясь.

А гости еще подъезжают.

Приехали Майкл и Агнесса, которые в шутку себя называют упрямою парой

крестьянских лошадок,

что тянут и тянут повозку.

Приехала дочь их, Агата,

похожая на молодую

Джейн Фонду из «Барбареллы»,

с собой привезла две бутылки «Бурбона»

и внуков Агнессы и Майкла – Шарлиз и Гомера,

за лето подросших, как и положено детям.

IV

За час до обеда приехала Мэри,

а с ней Алессандро, конечно.

«Рут! Папа!» – «Ах, Мэри!» – «Ну, как вы?» –

«А вы? Как Тоскана?» -

«Как сон на рассвете. Вот-вот и – проснешься.

Тем более что повторял Алессандро все время:

«За мною иди». Как Вергилий. Хотя подходило здесь больше:

«За мной поезжай». Мы ведь брали велосипеды.

На них и доехали как-то до самой Флоренции.

Это

«Брунелло ди Монтальчино» мы там и купили.

По правилам если, открыть его нужно сейчас, а пить через сутки».

V

Открыли. Бутылку поставили в кухне на полку до завтра.
А сами в столовой расположились компанией дружной.
Вкус стейка на гриле
со вкусом «Бурбона» из бочки дубовой,
внутри обожженной, соединился.
Глядела сквозь окна
на пиршество осень, одетая ярко и броско
в шифон разноцветный.
Беседа текла. Об Ираке заговорили. Волнуясь,
Уилсон спросил: «Почему мы молчим?
Почему не возвысим свой голос?
Иль время великих глашатаев –
Пабло Неруды, Ахматовой, Торо
и Дугласа Фредерика ушло, как и совесть?»

VI

«Молчим, как воробушки в кустиках!
Надо кричать! Вон как дети
кричат, когда чувствуют голод,
иль жажду, иль несправедливость».
За окнами ветер поднявшийся
кроны кленовые взвил, будто пламя
над крышами в Аль-Джавадейне.
Во двор улизнувший,
Гомер, сын Агаты, нашел развлеченье такое:
на досках, прикрывших осеннюю лужу, качался,
подобно матросу на палубе ноги пошире расставив.
Вверх – вниз, влево – вправо,
и будто валы – кроны сосен,
и листья ольховые стайками наискосок
вдоль пригорка...

VII

Назавтра весь день провели на реке,
Миннесоте, рыбача, смеясь и болтая.
Сначала поехали Роберт и Алессандро,
чтоб все подготовить:
палатку поставить, шезлонги и столик. Костер
развели – было сыро.
Гусиными крыльями ночь опадала.
Кусты проступали сквозь сумрак.
Кричали пронзительно сойки.
«Вот крики, которые будят меня на рассвете, –
сказал Роберт Блай. –
Эти сойки, они будто первыми все называют.
«Вот это пусть будет енот какомицли», – кричат». –
«Какомицли! Енот какомицли!» –
крик сверху раздался пронзительно, как откровенье.
Совсем рассвело.
Миннесота молочно текла, облака отражая.

VIII

Курчавые, как вавилонские боги,
они над землю парили,
над лесом, где красные сосны стояли, как будто
полки ассирийцев у стен Вавилона.
«И все-таки как эти парни похожи на саранчу!» –
произнес Алессандро,
в «Стар трибьюн» загубником
черной бриаровой трубочки тыча.
«А знаете, друг мой, когда одиночка-кобылка,
живущая тихой растительной жизнью,
становится стадной и агрессивной саранчой? –
спросил зятя Роберт. –

Когда ей жратвы не хватает. Тогда-то
одни начинают сородичей жрать, а другие
от хищных сородичей бегством спасаться,
и тоже становятся саранчюю,
прожорливой тварью, восьмою египетской
казнью, посланцами пятого Ангела смерти».

IX

«Смерть – высшая степень свободы,
штампованной траками танков», –
сказал Алессандро, датч-микстом своим
затянувшись. Дымок ароматный,
как белая бабочка, с трубочной чаши
вспорхнул и растаял.
И тут остальные подъехали.
Их голоса раздавались
и смех. Взяли удочки, стали рыбачить,
и первого карпа,
добытого с боем, запечатлев полароидом,
тут же и отпустили.
Агнесса и Рут на спиртовке
омлет приготовили с сыром
и спаржей, наделали сэндвичей.
Кто-то поставил кассету.
И тихо поплыл над рекою прелюд
из «Орфея и Эвридики»...

X

Вернулись, когда уже солнце
зашло за верхушки деревьев
и отблеск багровый как будто из-под земли
пробивался наружу.

Пока возвращались, все только и говорили
о выходке странной Гомера,
который, когда все грузились в машины,
вдруг взял и пошел по тропинке
в лесную чащобу. Ему вслед кричали.
И мать, и сестра его звали отчаянно.
Мать: «Ну, куда ты, несносный мальчишка?!
А ну-ка, негодник, вернись!» А сестра:
«Эй, Гомер! Ты оглох или крыша отъехала на фиг?»
Но он даже не обернулся. Как будто и вправду
оглох или стал невменяем.
Его, словно куль с кукурузой, обратно принес
Майкл, дед, положив у пикапа.

XI

И, вспомнив об этом,
Блай вспомнил стихи о тропинках,
которые в желтом осеннем лесу расходились.
И он вдруг подумал
о возвращенье в исходную точку, –
что это возможно. Подумал о новых дорогах,
далеких портах и о новой,
еще не изведанной жизни.
Он в спальню зашел в это время, чтоб переодеться,
застав лунный свет, заполняющий комнату млечно.
Снаружи на ветках лежал он,
как звон колокольный, торжествен,
чист, будто вода подо льдом, и звенящ, будто лед
у краин.

ХII

И Роберт ступил в лунный свет,
будто в реку, и рыбою пахла
одежда, им снятая. И показалось ему на мгновенье,
когда надевал он другую,
что в зеркале кто-то другой отразился.
И комната стала какой-то другою,
и шкаф, и диван, и плетеное кресло,
уже пережившее метаморфозу
в судьбе тростниковой,
и книга раскрытая, прежде шуршавшая в роще
листами своими,
и лестниц ступени, скрипевшие там же когда-то, и
где-то на кухне
вино из Тосканы, которое ждало рассвета,
как приговоренный к распятью,
и хлеб деревенский для тостов.
Все было другим в лунном свете.

ХIII

Он глянул в окно и увидел, что были другими
и двор, и ограда, и сад, и сторожка, где прятали грабли,
которыми листья сгребали, и лес вдалеке, и дорога.
Все было другим в лунном свете. Возвышенным,
ясным, как соль бытия. Он глядел и глядел на дорогу,
луною облитую, плавно текущую, как Миннесота.
Она вводила не в царство гадюк
и не в город барсучий,
чьи киники бродят ночами по луковым грядкам.
Он ясно представил, куда вводила дорога.

XIV

Туда, где качаются волнами стебли сухой кукурузы.
Туда, где стоит одинокое странное дерево – ива,
верхушкой касаясь небес, а корнями – дна Ахерона.
Вокруг него листья коричнево-желтые
в черных прожилках,
как будто на древнем пергаменте
буквы из серебра почернели.
Один за другим обрываются листья
под шорох печальный
сухой кукурузы. Закатное солнце багрово.
Воскресная ночь наступает.
Кого восходящие звезды сегодня застанут?
Какого Авраама?
Костер еще тлеет, но некому палкой
золу ворошить до рассвета.

XV

Он вышел из дома – во двор – в темноту. Под ногами
какая-то мелочь в траве прошуршала. Деревья
вздохали. Крутились костлявые лопасти мельницы.
И облака дождевые,
несясь к Ортонвиллу, полнеба уже заслонили.
Был воздух прохладен, как после дождя.
Блай подумал,
что кроме него в этот час никого,
кто бы бодрствовал, нет. За стеною
затихшего дома мужчины и женщины спали, которых
любил он. Их лица он ясно представил.
Луной освещенные, были
они в этот миг будто слепками снов, то веселых,
то грустных.

XVI

Рут, Мэри, Агнесса, Майкл, Франклин Уилсон, Агата, Шарлиз, ее дочь, Алессандро, Гомер, странный отрок, Ванесса... Пошел редкий снег. Поначалу похожий на те, что собой вечера украшают, торжественно наземь спадая, как мантии складки; потом все быстрее порывами ветра гонимый – волна за волною. И вот уже, как саранча, облепил он деревья в саду, и траву возле дома, и стебли сухой кукурузы, шуршащие в поле. В лицо он впивался, за брови цепляясь и в шарф запуская буравчики-лапки. А следом еще подлетали, и щелканье крылышек тонких звучало повсюду.

XVII

И вот уже, как саранча, облепил он пространство, и землю, и небо, и лес, между ними парящий, и ветер, и тьму, что от страха забила в вигвамы бухлоэ, бизоньей травы. В нарастающей буре один лишь амбар с кукурузой, как Ноев ковчег, на плаву оставался: чем гуще валило, тем тверже держался он курса, – туда, где качаются волнами стебли сухой кукурузы; туда, где стоит одинокое странное дерево – ива, верхушкой касаясь небес, а корнями – дна Ахерона.

XVIII

Идти по дороге.

Пока еще листья последние не облетели,
коричнево-желтые листья в черных прожилках
(как будто на древнем пергаменте
буквы из серебра почернели).

Идти по дороге навстречу бурану,
не пряча от снега

лица. По дороге идти, как в пустыне Предтеча,
акриды глотая.

Кричать: «Эй, Гомер! Вот енот какомицли!»

Как сойки кричат на рассвете.

Как дети кричат, когда чувствуют голод,
иль жажду, иль несправедливость.

Пока еще тлеет костер,

в чью золу попадая, снежинки

становятся слезами боли, печали и скорби...

Катрены Царского села

I

Два этажа, и не больше,
может быть, где-то три,
вроде стручковых горошин
желтые фонари –

II

Улица Средняя. Вечер.
Рыжеволосая ель
смотрит, как ставят свечи
на столики в Daniel.

III

Кушают пасту и стейки,
пьют и в окно глядят:
вот он сидит на скамейке,
как и сто лет назад.

IV

Выгрузились туристы.
– Kommen wir? – Ja. – Sehr gut!
Шумные, как лицеисты,
мимо Лицея идут.

V

Золотом легкой соломы
в окнах дворцовых свет.
Марты Скавронской дома
три века уже как нет.

VI

Вот и шатаются парком,
видя вдали Эрмитаж.
Мимо, шинами шаркнув,
прокатится экипаж.

VII

Над головой возницы
небо, тучка, стрижи.
Свесив до пят косицы,
лиственницы хороши.

VIII

Броуновское движенье
праздношатаев в саду.
Сумерки. Отраженье
Верхней ванны в пруду.

IX

Эхо далекого смеха,
в окнах флигеля – медь.
... Вот куда стоит приехать,
чтоб умереть.

Катрены соляных садов

I

Блестящие, будто льняные,
ручьи и потоки везде.
Дворы, как сады соляные,
стоят по колено в воде.

II

И снег на высоком откосе
рассыпчат, как соль, оттого,
что солнце склонившимся лосем
все лижет и лижет его.

III

И пьет, отражаясь, из лужи,
в которой стоят облака
и льда серебрятся калужьи,
лоснящиеся бока.

IV

Теперь-то уж я не забуду,
чем славится март молодой:
сады соляные повсюду –
рассыпчатый снег под водой.

V

Из копей январских и штолен
копившего снег февраля
добытою солью посолен
мир щедро. Чернеет земля

VI

горбушкой на влажном пригорке;
как мякиш, чернеет вдали.
Вкус жизни – соленый и горький –
смешался со вкусом земли.

VII

И наземь с березы синица
слетает опять и опять,
как будто всю соль, до крупицы,
для Золушки нужно собрать.

Танго-сюита имени Бориса Поплавского

1. Черная свадьба

Дождь прошел, и зеленые кроны,
как мохито со льдом, засверкали.
В этих кронах орали вороны,
будто черную свадьбу справляли.

В черных фраках, муаровых лентах
кавалеры, нет, кавалергарды:
крылья грузные – как эполеты,
клювы грозные – будто кокарды.

С белоснежным лицом юной гейши
и червями источенным телом,
улыбаясь улыбкой милейшей,
Смерть-невеста меж ними сидела.

И с улыбкою светлою тоже,
в твид двубортный и галстук одетый,
на атласном супружеском ложе
ждал жених ласки черной Одетты.

И слетела она не дурнушкой –
полногрудой японской голубкой.
И присела к нему на подушку,
распахнув черный хвост, будто юбку.

Музыканты играли Шопена.
Лабух плакал на черном кларнете.
Облаков белоснежная пена
оседала, и бегали дети.

Это было вчера на Стромынке,
у Бахрушинской, в самом начале.
Моцареллою свежей простынки
на поникших веревках рыдали.

И орали вороны, орали
что-то из миннезингерских арий
и, слетая на землю, клевали
тело голубя на тротуаре.

2. Падший ангел

Падший ангел сидит на скамейке весеннего парка.
За щекой карамель, а в глазах ледяная тоска.
Падший ангел снимает свой твидовый плащ –
ему жарко,
плащ свой твидовый
цвета морского с прибором песка.

И тогда на груди открывается страшная рана –
роза красная, *rosa candida* убитой любви.
И тогда извлекается жалкой рукой из кармана
бумазейный платок,
весь в слезах и невинной крови.

Дворник с бляхою шаркает
черной метлой по дорожкам,
подметает окурки раздумий, надежд и тревог.
Карапуз на коленях у няни, как будто на дрожках,
засыпает и видит, что он – это Бог.

Он стоит на вершине, вокруг него райские кущи,
где красивые птицы поют на семи языках.
Падший ангел подходит к нему,

говоря: «Вездесущий,
ты прости меня, я так устал быть изгоем в веках».

И светлеет у ангела лик его темный с прыщами.
И прощает его тот, у чьих он склоняется ног,
и прощает его, и прощает его, и прощает,
и прощает его, ибо каждый прощающий – Бог.
И бегут они, мальчик и ангел, касаясь руками,
по лугам изумрудным, Элизиум смехом будя,
и резвятся они, и болтают друг с другом стихами –
падший ангел и ставшее Богом дитя.

И лежат облака перед ними, как в море атоллы,
облака грозовые, и где-то в Сантьяго дожди,
под навесом на сцене звучит
«Либертанго» Пьяцоллы –
махаон перламутровый так и взлетел бы с груди.

Он взлетел бы!

Но жизнь – это все-таки скучная проза.

Просыпается мальчик у няни, задумчив и тих.

На дорожке платок, на скамейке увядшая роза.

В небе серые голуби. Белого нет среди них.

3. Прощание с Мореллой

В этот час, когда веранды ресторанов
заполняются вечернею толпой,
и, как лебеди, кричат катамараны,
и о скалы разбивается прибой,

а на небе карлик солнце, багровея,
воспалается, как Полифема глаз,
отразивший алый мак в руке Морфея,
в этот поздний для прогулок, крайний час

ты идешь по пляжу босиком, Морелла,
беззаботное и смуглое дитя,
ветерок как будто лепит твоё тело,
мягко складками хитона шелестя.

И смолкают даже циники в буфете,
проводя взглядом твой наивный стан.
О Морелла, говорят, на белом свете
есть немало удивительнейших стран.

Вон стоит высокий лайнер у причала,
белоснежный, будто чайка на волне.
Он в Австралию отправится сначала
и, в конце концов, окажется на дне.

Осьминоги, каракатицы и скаты
станут жителями палуб и кают,
каулерпою покрытые канаты
задевая, как лианы, там и тут.

И над мачтой, где огонь святого Эльма
обещал спасенье и удачу впрок,
остановится, светясь, тараша бельма,
рыба-призрак, золотой опистопрот.

Глазом сложным разглядит он в донном иле
руку милую, хватавшую консоль.
О Морелла! Это лучше, чем в могиле,
как забытая на почте бандероль...

4. Смерть Бучеры

Умер Бучера, умер проклятый,
умер в субботу, умер!
Хоть поначалу не было знака,
не было даже намека.
Как из ведра, как из бочки железной
лил накануне ливень,
как и любил покойный Бучера
больше всего на свете.

Струи хлестали, хлопали ставни,
капли долбили камни,
все мостовые реками стали,
ветер скакал по скатам
и пригибал деревья и мачты
шхун и фелюг рыбацких,
сами собою на колокольне колокола звонили,
мчались коляски, брызги в прохожих
из-под колес летели,
как обезумев, с гиком возницы
мокрых коней хлестали,
окна звенели в лавке и громко
лаялись две сеньоры –
всё, как любил покойный Бучера
больше всего на свете.

Нищие, паперть покинув, скакали
на костылях к воротам.
Вслед им раскаты грома катились,
как по камням сентаво.

Молний клинки о кресты ломались
на городском кладбище,
там, где сегодня камень надгробный
лег на его могилу.

Вот оно, солнце, каким бывает,
тетушка Кармелита.
Сколько сегодня яркого света
на небесах разлито!
Окна и лужи светом играют,
точно мячом, в пелоту.
Чайки, весело перекликаясь,
машут «Счастливо!» флоту.

И напевает лоцман и боцман,
даже колодник в трюме:
«Умер Бучера, умер проклятый,
умер в субботу, умер!»
Умер Бучера, и на лужайке
в парке жарят асадо.
Льются мальбек и цереза рекою,
нет! уже водопадом.

Как обезумев, с гиком возницы
возят весь день задаром.
Флейта смеется, туба хохочет,
бандонеон, и гитара!
И до заката пляшут милонгу,
слушают «Кумпарситу».
Вот оно, счастье, каким бывает,
тетушка Кармелита.

Милая тетушка, но почему же
в черное ты одета?
И почему ты горькие слезы
льешь всю ночь до рассвета?
Горькие слезы льются и льются,
дождь набирает силу
там, где сегодня камень надгробный
лег на его могилу.

Дождю

1

... И солнце дневное погасло
(вечернее тоже не в счет),
и, словно кипящее масло,
вода по асфальту течет.
Машин огибают колеса,
как будто в реке валуны,
и новая падает косо
с подветренной
стороны.
И те, кто в автобусе, рады,
что им наконец
повезло,

тем более,
грома
снаряды
осколками
ранят
стекло.

2

Всю ночь
наш двор скребли и мыли,
о чем проходим
поутру
деревья, как глухонемые,
жестикулировали
на ветру.

И было что-то
в их рассказе
от первобытных пантомим,
как будто в том
ночном экстазе
смысл жизни
вдруг открылся им.

И вот спешили поделиться
внезапным знанием
всех начал,
изображали что-то в лицах...

А их
никто не замечал.

3

«Вот и осень проходит», –
попутчик мой скажет
и уткнется в окно,
где средь ливневых струн,

как в картине у Вайды «Все на продажу»
на глазах у Ольбрыхского конский табун,
бьется роца,
стволами перебирая,
словно кони
ногами
в загоне своем, –
и проносится,
чтобы смениться сараем,
придорожным домишком,
колючим стожком.

Вот и осень
проходит.

Кто вспомнит июльский
дождь веселый,
что шпарил
наперегонки
с молодящимся байкером, –

словно Цыбульский,
в куртке кожаной, в джинсах,
и с дымкой очки?

4

Ты шел всю ночь,
упрямый странник,
под утро постучал в окно,
похожий на кедровый стланик,
когда кругом еще темно
и только редкие машины
листают лужу на углу
и, словно лыжники с вершины,
зигзагом
капли по стеклу
несутся друг за другом следом,
друг другу преграждая путь...

А знаешь,
я и сам уеду
когда-нибудь
куда-нибудь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОИСЕЯ

Святая Варвара

1

В наказание за красоту
Заточили в высокую башню,
Тень которой ложится на пашню.
Это Хронос подводит черту
Перед тем, как уйти в темноту,
Где Калиго и Хаос Эреба
Порождают. Теперь только небо
Составляет раздумий предмет,
Заключая вопрос и ответ –
Для чего. Пахнет брынзой и хлебом.

2

Илиополь во мрак погружен.
Лишь на площади факелы стражи,
Как листвой облетающей, сажей
Устилают подножья колонн
Храма. В отсветах кажется он
То ль Аидовой страшной пещерой,
То ль на скалы влетевшей галерой.
Илиопольцы спят, как сурки,
Распустив пояса и шнурки,
Одобряемы Зевсом и Герой.

3

Но едва только Эос постель
Покидает свою и на берег
Искупаться идет, всюду двери
Отворяются. В каждую щель

И лачуг, и дворцов, будто хмель,
Проникают лучи, оплетая
Все предметы. В кустах золотая
Сойка гимны Афине поет.
И стекается к рынку народ,
И галдит, будто галочья стая.

4

Те, торгуясь, монетой звенят;
Эти, черными каплями крови
Обагрят песок у жаровен,
Режут горла курчавых ягнят.
И тяжелый самшитовый чад
Не спеша поднимается в небо.
Ветерок. Пахнет бронзой и хлебом.
Полдень. Солнце в зените. Жара.
У реки мельтешит детвора
С одобрения рыжего Феба.

5

Неизменный порядок вещей:
Только солнце покатится к роще,
Где порывистый ветер полощет
Кроны, будто подолы плащей,
В сей же час, как всегда, у дверей
Встанет Иезавель, златокудра,
На ланитах свинцовая пудра,
На устах густо-красный кармин.
К ней с дороги свернет то один,
То другой (а последний – под утро).

6

Так легко за оболем обол
Поясок наполняют приданным.
Ты же в башне своей окаянной
В одиночку садишься за стол.
Диоскор так же молча ушел,
Как пришел. Вот становится воздух
Темно-синим. Вот первые звезды,
Точно соль, проступают на нем.
Вот опять в темноте за окном
Этот мир удивительный создан.

7

Только кем? Кто решил, что луна
Убывает? И тут же обратно
Прибывает. И так многократно
Повторяется. Будто волна
Набегает. Откуда она,
Эта стройная музыка мира?
В чьих руках семиструнная лира
Порождает гармонию сфер?
Кто он, этот небесный Гомер,
Сочинитель земли и эфира?

8

Сочинитель морей и озер,
Гор и рек, что стекают в долины,
Через узкие горловины
Поначалу. Зеленый ковер
Расстеливши, цветочный узор
Кто наносит, а после дождями
Все смывает? Кто целыми днями

И ночами, кто из году в год,
Будто ворот, сей круговорот
Все возвращает, без нас или с нами?

9

И зачем, для чего мы нужны:
Хвастуны, сластолюбцы, убийцы,
Казнокрады, глупцы, кровопийцы,
Лицемеры, обжоры, лгуны,
Лжебогам самозванным верны
И в любви, и когда убиваем?
Для чего мы на свете бываем?
Пусть Он скажет! Пусть даже не сам.
Будто льва по когтям, по словам
Мы любого пророка узнаем.

10

Пусть расскажет хотя бы пророк,
Для чего это брэнное тело
Мне дано, если нету предела
У души? Даже если урок
Будет страшен, тяжел и жесток,
Знать хочу! Даже если на муки
Обрекусь и железные руки
Будут плоть мою рвать без конца,
Даже если рукою отца...
Чу! Ключа поворотные звуки.

Авраам и Сарра

1

«Рукой Авраама зарезан твой сын Исаак, –
Сатан, пастухом обернувшись, приносит известье. –
Ягненка заклать рано утром отправились вместе
В Морию они. Ну а вместо ягненка... Вот так».
И вскрикнула Сарра, бледнея. И, делая шаг,
На землю она оседает. И, будто бойницы
Разрушенной башни, наполнены мраком глазницы.
И видит луна, проплывая по синим холмам:
Из рощи масличной идет по тропе Авраам,
А с ним Исаак – и у них безмятежные лица.

2

«А правда, что Сарра, когда Исаака ждала,
Вдруг помолодела и даже красивее стала?»
«Конечно, она ведь добра совершила немало.
И тех, кто за ней с Авраамом пошел, несть числа».
А далее – далее речь про пастушьи дела
Течет, как вода Иордана, неспешно и чинно.
И так же неспешно пред ними пустеет корзина.
...Приходит лиса, получает лепешки кусок,
И тут же в кусты. Промелькнула, как фитилек.
Вдали громыхнуло. Грозою запахла долина.

3

«Гроза разошлась не на шутку. И ливень стеной.
Входи. Как зовут тебя, гость?» –
«Можно звать Михаилом». –
«Садись у огня. Обсушись. Обогрейся. Остыла

Похлебка. Сейчас подогрею. А ноги укрой». Гость сел у огня, к Исааку горбатой спиной. Беседа течет, как вода Иордана, неспешно. О ценах на хлеб и на мясо. Как будто орешник, В котором запутались, пламя трещит в очаге. И даже с лежанки своей Исаак на щеке Тепло ощущает, во мрак погружаясь кромешный.

4

«Вставай, Исаак», – голос гостя звучит из угла. «А где Авраам? Где отец? Почему я не вижу?» – «А ты поднимись, Исаак, поднимись и поближе Ко мне подойди. Видишь, там, вдалеке, Махпела?» Глядит Исаак: вдалеке, где чернеет скала, Фигурка у входа в пещеру, где Сарры могила. Вдруг все озаряется светом! Глаза Михаила, Как будто гагаты, сверкают. И плавится мрак. И видит, пока еще можно, сквозь жар Исаак: На самом краю Авраамово тело застыло.

5

«Ты плачешь, Адам? Этих слез недостойны они – Лгуны, хвастуны, сластолюбцы, обжоры, убийцы, Глупцы, казнокрады, обманщики и кровопийцы, Своим лжебогам самозванным верны искони». И тянется, будто листва по-над краем стерни, Поток из людей бесконечный к широким воротам. Вослед им глядит Авраам, понимающий, что там. Енох им грехи поминает по книге в руках, И Авель их судит. И Божий становится страх Ужасною тучей над кровом содомского Лота.

6

«О, Лот! Погляди, что творится на небе сейчас!
Как будто архангелов стая парит, многокрыла:
Вон лик Сариила, Иеремиила и Гавриила,
А вот Рафаила. Конец наступает для нас?»
И вмиг небосвод над Цоаром как будто погас,
Затянутый серым песком Иудейской пустыни,
Как будто и не было белого света в помине,
А если и был, для того только, чтобы пропасть,
Чтоб все поглотила дракона разверстая пасть,
Огонь изрыгая и смерчами воя в долине.

7

«О Сарра, смотри, как суров и неправ его суд!
Живым за грехи Авраам воздает не по мере,
Как будто бы в их покаянье не только не верит,
Но знает, что им они души свои не спасут!»
И вот Адонай Михаила зовет – тут как тут
Архангел, который сразит мирового дракона.
Вернуть Авраама на пыльные стогны Хеврона
Велит Адонай. Пусть от Ктуры родится Зимран,
Потом Иокшан и Медан, и еще Мадриан,
Ишбак и Шуах – палестинской смоковницы крона.

8

«Я замысел твой поняла, Адонай. Он велик!
Ты любишь людей просто так.

И прощаешь заранье.

Ты любишь глядеть, как нисходит на них покаянье,
Как светел становится каждого грешника лик».

И слушая Сарру, меняет он облик. Старик,
Седой, с бородою всклокоченной, в рубище рваном,
Теперь перед нею. И слезы текут непрестанно,
И в каждой, как будто в зрачке, отражается тот,
Кто крест на Голгофу под солнцем палящим несет,
Пока, как Енох, что-то шепчут и шепчут барханы.

9

«Вставай, Исаак. Все закончилось. Выпей воды.
Дай жиром бараньим помажу тебе я ожоги». –
«Отец, я стоять не могу – отнимаются ноги.
Боюсь, не осилить мне спуска в долину с гряды».
И овод желудочный вьется вокруг бороды
Всклокоченной, метя в прореху разодранной ризы,
И дым от костра, будто клочок, отрывается, сизый,
И слезы в глазах Авраама, как пламя, дрожат,
И нож ханаанский в руке его крепко зажат,
И агнец дрожит, и костер занимается снизу.

10

«Так что за видение было тебе, Исаак?» –
«Я видел себя на холме, на себе багряницу.
Я видел толпу. А потом они шли вереницей.
И я между ними, осмеян, оплеван и наг».
И ветер поднялся, наполненный лаем собак
И запахом жирной похлебки над пастбищем горным,
И шорохом листьев оливы, чьи страшные корни,
Сплетаясь, нависли над краем пустынной скалы,
И гулом, с которым на дно покатались валы,
Тревожа овчарок, пугая овец покорных.

Караваджо

1

Боже, что я делаю не так?
Может, в тех занюханых трактирах,
Где сижу я, и не пахнет миром
И молитв не слышно в шуме драк...
Ну, тогда подай мне только знак:
Стань, как Чезари, мол, благонравным,
Не ищи вакханок, да и Фавна
Среди тех, кто пьянствует с утра,
Кто убийцы, шлюхи, шулера,
Первые среди злодеев главных.

2

Будь, как Чезари, мол, чей Христос
Даже на кресте от смертной скуки
Задремал. Сложи смиренно руки
И служи, как подзаборный пес...
Но ответь мне только на вопрос:
Если не трактир и не таверна,
Где, скажи, найти для Олоферна
Перерезанный Юдифью крик,
Чтобы он высот твоих достиг,
Покидая гнойные каверны?

3

Где, скажи мне, ты еще найдешь
Взгляд отчаянья для Исаака,
Этот свет, крадущийся из мрака,
Эти колебание и дрожь,

Тронувшие ханаанский нож
И зрачки несчастного ягненка?
Этот свет, натянутый, как пленка,
Что вот-вот прорвется, как плева,
Под которой бьется голова
Самого несчастного ребенка.

4

Этот свет от лампы на стене,
От печи, где жарят тагилату,
От дукатов, брошенных в уплату
В фартук тавернейровой жене.
Или тот, мерцающий в вине,
Как рубин, и в гроздьях марцемино.
Или тот, в ломтях фокаччи с тмином,
Что преломлена его рукой.
Свет, в котором вечный непокой
Твоего неистового сына.

5

Свет из растворенного окна,
За которым ветер ходит, вея,
Луч и жест, призвавшие Матфея,
Черного душой, как Сатана.
Свет, встающий плотно, как стена,
На пути осенней непогоды.
Свет, пронзивший тучи, будто воды
Иордана павшая Полынь.
Свет незамечаемых святынь,
На которые щедрa природа.

6

Свет каштана в Борго, под горой,
Там, где осень по пути в Египет
Отдыхает, прислонившись к липе
С тронутой лишайником корой,
Наслаждаясь ангельской игрой
Керубино на ручной виоле
С шейкой завитою, как фасоли
Плодоножка. Свет от камыша
В пойме Тибра, легкий, как душа,
Облетающая Капитолий.

7

Свет погрязших в сумерках вершин,
Где светило медленно садится,
Делая задумчивее лица
Женщин и суровее – мужчин.
Свет почтенных старческих седин,
Локонов, струящихся по телу
Девы, скинувшей одежды смело,
Голубиных перьев на крыльце...
Свет, который видит на лице
Матери младенец в ризе белой.

8

Свет, проникший в ясли через щель
Между косяком и приоткрытой
Дверью (алтарем иоаннитов
Пергола в саду – ее туннель
Оплетает золотистый хмель).

Свет, приникший с трепетом к мадонне
(На холмах все ярче, все бездонней
Небеса, и кипарисов ряд
Трепетным сиянием объят,
Прижимая тесно крону к кроне).

9

Будто голубь, севший на окно,
Краткий гость темниц и кроткий – келий,
Свет дождя в лесу, в саду – камелий,
Чистое, как совесть, полотно,
Где, как первородный грех, пятно
И – внезапно, резко – вся натура
(Чем темнее камера-обскура,
Тем он ярче, яростней, острей;
Тем контрастней, резче суть вещей,
Каждой цветовой тесситура).

10

Посох, наставляющий на путь,
Что ведет с подножия Синая
На Голгофу, где стоит, стеная,
Ливень, серебристый, будто ртуть,
Обжигая руки, плечи, грудь,
Покрывая язвами нагое
Тело, не мое уже – другое,
В коем зависть, похоть, злоба, мрак...
Боже, что я делаю не так?
Дай мне знак! Или оставь в покое...

Сон Иакова

1

Иаков увидел Рахиль и заплакал.
Увидел во сне. И заплакал во сне.
И, будто слезами омытый, ясней
Стал сон, окруженный остатками мрака.
В нем блеяли овцы, ворчала собака
На камень, закрывший дорогу воде,
И дети пустынь, как всегда и везде,
За очередь спорили громко и грубо –
До пены кровавой, иссохшие губы
Покрывшей, стекающей по бороде.

2

Спросил он: «Лавана, Нахорова сына,
Кто знает из вас?» Отвечали: «Мы все.
А вон его дочь». Он взглянул и в косе
Рахили увидел цветок апельсина.
И будто звездой озарилась долина –
Сияньем пяти серебристых лучей.
И вот уже тек серебристый ручей,
На камень отваленный блики бросая,
И блеяли овцы, и звонко, босая,
Смеялась Рахиль, и поили коней.

3

И всадник стоял, на копье, как на посох,
Ладони крест-накрест взложив, и пастух
С ним рядом стоял точно так же. Был сух,
Как выпечка, воздух, и падала косо

С холма, где, как будто песочные осы,
Вкруг каменных ульев роился народ,
Двурогая тень Каркемишских ворот,
Дорогу в Ниневию пересекая.
И путник, чужак из далекого края,
Вздыхнул: «До чего же сегодня печет!»

4

И все, соглашаясь, в ответ закивали:
И, вправду, жара, и нескоро закат.
Вдали, будто солнце, белел зиккурат,
И белыми были барханные дали,
И в белых одеждах на белом гамале
Сидящим казалось над краем земли
Встающее облако. Медленно шли
Один за другим по песку дромедары –
Большой караван, покидающий Харран, –
И долго их точки чернели вдали.

5

И вновь до порога Лаванова дома
Дойти не успел он, как солнце зашло.
Он лег, где стоял. Остужая чело,
Песок остывал. Охватила истома
Все тело Иакова. Так невесомо
Вдруг стало ему, будто на небо он
Неведомой силою был вознесен.
Он сел, обхвативши руками колени.
Потом огляделся, увидел ступени,
Ведущие вверх, как тропинка на склон.

6

Он встал и пошел, поднимаясь все выше
По лестнице, что достигала небес,
Спеша, точно времени было в обрез,
Все явственней глас призывающий слыша.
Горбами верблюжьими острые крыши
Чернели внизу, будто спал караван.
...И вот уж соленое озеро Ван
Сверкнуло к востоку, как лужица каша,
Пролитого из алебастровой чаши,
С которой сидел на пороге Лаван.

7

...И видел Иаков от края до края
Всю Месопотамию, Тигр и Евфрат,
Пустыню Сирийскую и Арарат,
И Красное море, и горы Синая,
И прочие земли и воды, не зная,
Как их называть, на каком языке.
Он шел по ступеням, сжимая в руке –
И той, и другой – горсть песка, или пепла.
Он шел – и чем выше, тем больше в нем
крепло
Желанье спросить об одном пустяке...

8

«...И вот я с тобой и тебя не покину,
Пока не исполню всего, что сказал...»
Вот тут-то Иаков, как ни был он мал,
Как ни был ничтожен, вдруг выпрямил спину

И молвил: «Скажи мне, как если бы сыну
Отец говорил, почему не Исав?
Зачем, первородство купив и отняв
Обманом отцовское благословенье,
По свету качусь я теперь, как растенье
Сухое, лишенное жизненных прав?»

9

«Скажи, почему не охотник, не воин,
Чье слово для жен и наложниц – закон?
В ловитве искусный, а, может быть, он
Печати Твоей больше был бы достоин?» –
Сказал и замолк. И в молчании стоя,
Глядел, как сочится из каждой руки
Сквозь пальцы песок, или пепел... Щеки
Иакова будто коснулась поземка.
Он плакал. Над ним, как над глупым ребенком,
Склонилась Рахиль. Он разжал кулаки...

10

И вмиг пробудился. Бедро нестерпимо
Болело. Но он, как и раньше, терпел.
Он знал, что как только наступит предел,
Боль тут же отступит. Прошел кто-то мимо
Шатра. Был пружинящим неповторимо
Его же, Иакова, шаг молодой.
Какой-нибудь правнук пошел за водой.
А, может, праправнук. Когда же Иосиф
Приедет? Склонившись к лицу его, спросит
Глазами, совсем как Рахиль: «Что с тобой?»

Павел в Коринфе

1

Багровое солнце над Акрокоринфом
Мерцает всевидящим оком Творца.
В заливе у берега плещется нимфа,
Смеется и песни поет без конца.
Алкеста и Кор у постели отца,
А Яннис в дверях, на полу мозаичном.
Весь день сам с собой скорлупою яичной
В граммисмос играет. Так думает он.
Как сфинга, на ветке застыла синичка –
Деталь капители коринфских колонн.

2

И слышно отсюда, как волны залива
Бормочут Евмела забытого стих.
«Эой, – повторяют, – Эфоп». Словно слива,
Залив фиолетов. И ветер затих.
«Эой, – напоследок, – Эфоп». А других
Два имени так и не вспомнили. Ветер
Затих. С ложа слышится тихое: «Дети...»
«Мы здесь», – отвечает Алкеста, а Кор
К губам его чашу подносит, заметив
При этом, что кто-то заходит во двор.

3

До пят его плащ грубошерстный струится,
Как быстрый поток по мохнатым камням.
И крыльями жертву терзающей птицы
Взметаются полы. «Гость, кажется, к нам?» –

Алкеста читает по серым губам,
Бескровным, почти не способным на шепот
И все-таки шепчущим: «Кто это? Кто там?»
И вот он заходит, не молод, не стар.
Не стар – ибо есть в нем от ангела что-то.
Не молод – поскольку с дороги устал.

4

И вот он садится, и ноги Алкеста
Ему обмывает холодной водой.
И Яннис у ног, и, не трогаясь с места,
Глядит на пчелу над его бородой,
Где капелька пота сверкает звездой.
И первые звезды восходят на небо.
И Кор, отломив ему черствого хлеба,
Подносит с водой. И сначала он пьет,
Пытаясь припомнить, как долго здесь не был.
И вьется пчела. И вода будто мед.

5

Он ест и глядит на тщедушное тело,
На впалую грудь и пустые глаза.
Вспорхнула синичка и прочь улетела.
«А ночью, наверное, будет гроза», –
Вздохнув, говорит он и видит – слеза
На бледной щеке у больного Ясона.
«Ты, знаешь, однажды я шел из Хеврона
В Иерусалим, – говорит он ему. –
И вдруг услышал над пустынею стоны.
Откуда? Гляжу, да никак не пойму.

6

И только когда подошел, стало ясно,
В чем дело: устав от ярма и жары,
Пал вол, и стервятники выели мясо,
А солнце, скатившись с высокой горы,
Очистило кости, как терн от коры,
От гнойных остатков. И в этой колоде
Рой пчел поселился с заботой о меде.
Гудение их я и принял за стон.
Как будто, тоскуя в ярме по свободе,
Вол громко стонал, прежде чем умер он.

7

А это гудели рабочие пчелы,
В свой дом возвращаясь от зланных полей...
Уныние – грех. В этот час невеселый,
Ясон, не печалься о плоти своей.
Рабочие пчелы давно уже в ней –
Любовь, милосердие, вера, терпенье.
А боль... Что же боль? Знак иного рожденья.
Рожденья безгрешной сыновней души.
Мария стонала от боли, колени
Разжав, на соломе, в пещере, в глуши.

8

Счастливец, своей убегающий плоти,
В которой грехи будто черви в плоде,
Ты стонешь, а дух пребывает в полете.
Ты стонешь, и так происходит везде,
Где Божье творенье спасается, где

В надежде на это спасение стонет». И он замолчал, на колени ладони Свои положив. И на ложе Ясон Затих, как листва пред грозой на кроне, Затих, погружаясь с улыбкою в сон.

9

...Савл шел по ночному Коринфу. Блудницы Смеялись в объятых плешивых пьянчуг, И черные тени шарахались птицей, Которая чует натянутый лук. Орало, визжало, наглело вокруг Все непроходимое воинство мрака. Какой-то старик крупноносый собакой Залаял, завидев его, и, хитон Здрав свой и ногу, распутника знаком Пометил одну из коринфских колонн.

10

«Эй, Павел, ну где он, твой глупый мессия?! Пусть явится! Здесь мы его и распнем!» Крик этот до самого дома Гаия Его провожал. Дело было не в нем. А в том, что победная тьма за окном И тьма в бедной комнате были едины В тот миг, когда неба разверзлись глубины И гром прогремел, как тогда, на пути В Дамаск, когда, пав на осклизлую глину, Он ползал, как червь, свет не в силах найти.

Возвращение Моисея

1

На ослике, потомке тех ослов,
Чей предок на себе возил Иуду,
Неважный ткач косноязычных слов,
Въезжает он в Египет. Отовсюду
Идут к нему старейшины. И чуду
Дивятся: посох наземь кинув свой,
За ним, за уползающей змеей,
Бежит он и за хвост гадюку тащит.
И вот уже, как будто бич свистящий,
Рогатая взмывает над толпой.

2

И, в ужасе отпрянув от змеи,
Стоят, оцепенев. Стихает ропот.
И слышно, как трава шуршит, земли
Касаясь там, где в ней змеятся тропы.
Саманщики стоят и глинокопы,
Оцепенев от страха, и глядят,
Как, дельту Нила обогрив, закат
Затем и русло делает багровым.
Лягушки квакают. Мычат коровы.
Сбиваясь в тучи, комары гудят.

3

И снова в Моисеевой руке
Из кипариса вырезанный посох.
И снова тихо, и вода в реке
Становится небесней купороса.

«Быть пеклу!» – радуются водоносы.
«А где солону брать для кирпичей?»
«Явился! Проку от его речей!»
«Того гляди дойдет до фараона!»
«Пес мадиамский! Здесь ты вне закона!»
...Горит огнем в терновнике ручей.

4

И, озирая Гесем, видит он
То место у плотины, где когда-то
Меч обнажил, услышав плач и стон,
Внезапным чувством ярости объятый.
Вот здесь лежал надсмотрщик проклятый,
Убитый этой самою рукой,
Которую сейчас перед собой,
Всю в струпьях, пораженную проказой,
Он держит, потрясенный сам, что сразу,
Вмиг она стала страшною такой.

5

И, в ужасе отпрянув от руки,
Торчащей будто сикомор трухлявый,
Погонщики стоят и рыбаки,
Оцепенев, крик проглотив картавый.
Над ними черных оводов оравы.
Мычат коровы. Страшно воют псы,
Как будто всем последние часы
Приходят. Будто им последним часом
Стал миг, когда тлетворный запах мяса
Гниющего поймали их носы.

6

И снова Моисеева рука –
Живая плоть, свидетельство обмана.
«Да сколько можно слушать дурака?!»
«И правда! Завтра подниматься рано».
«Мед с молоком! А, может, с неба
манна?»»
«По агнцу – всем! Наглее нет лжеца!»
«Скажи еще, из золота тельца!»
«Да что тельца! Все золото Египта!»
«Вы поглядите на него! Вот тип-то!»
...Столп света, словно посох, у дворца.

7

И, глядя на дворец, где был он юн,
Где жил как сын, хотя и не был сыном,
Где Ливия, касаясь нежных струн,
Смотрела кротко и невыносимо,
Откуда он с проворностью крысиной
Бежал, – он вспомнил, что бежал сюда,
Что так же под папирусом звезда
Качалась и ступни боялись ила.
И, как тогда, он зачерпнул из Нила.
И кровью стала на песке вода!

8

И, в ужасе отпрянув от того,
Кто кровью обагрил песок белесый,
Стоят, не понимая ничего,
Носильщики, гребцы, каменотесы.

А над дворцом – столп огненный, и косо
По мирным крышам бьет термитный град,
И прямо в окна молнии летят,
И кровь закланых агнцев льет ручьями,
А саранча орудует мечами,
И тьмою липкой город весь объят.

9

И только здесь, где Моисей воздел
Свой жезл над головами иудеев,
Как будто бы пролег водораздел
Меж тьмой и тьмой и каждый шепчет: «Где я?»
«В глазах туман, и сердце холодеет!»
«Зачем в руке у каждого из нас
Меч или нож? Чья очередь сейчас?»
«За что нам эта страшная расплата?»
«Кого убить я должен? Друга? Брата?»
«Того, кто ближе», – раздается глас.

10

«Спи, мой сыночек, долгой будет ночь.
А утро в Фивах так и не наступит.
Одной мне эту боль не превозмочь,
Не истолочь, как горький корень, в ступе.
Никто не украдет ее, не купит.
Ну, разве только поделюсь с тобой
В тот день, когда твой первый на убой
Пойдет. С тобой, счастливая Мария,
Я криком поделюсь: «Да хоть умри я,
Он не воскреснет, бедный мальчик мой!»

Моисей и Аарон

1

«Господь, муж брани, славный Иегова!
Ты вверх в пучину всадника с конем,
А нас провел по лону дна морского.
Ты дунул – море вздыбилось кругом
И расступилось. В небе грянул гром,
И, будто камень, войско фараона
Ушло на дно. Так твоего закона
Враг ощутил тяжелую печать.
Так приобрел народ твой благодать.
Так прекратил ты жалобы и стоны».

2

«Ну, что, заика, слышишь, как запели
Жестоковыйные? А минул год
Всего лишь. Значит, мы достигли цели:
Был сброд, а стал Израиля народ!
День-два, и мы отправимся в поход:
Прогоним хананеев, аморреев,
Затем хеттеев, дальше ферезеев.
И, словно листья с опаленных крон,
Евеев жалких и иевусеев
Смахнем!» – «К-как, с-скажешь, б-брат мой А-арон».

3

«Ты ниспослал нам прямо с неба манну
И напоил водою из камней.
Эдому и Моаву с Ханааном
Внушил ты ужас до скончанья дней.

И Амалика, и его людей
Ты низложил мечом у Рефидима,
Приобретя народ непобедимый,
Который за тобой одним пойдет
И в той земле, где молоко и мед
Текут обильно, станет господином».

4

«Мед с молоком – отличная привада
Для нытика, мечтателя, глупца.
Он дом оставит, двор с колодцем, садом,
С жаровнею для мяса у крыльца.
Все золото вон для того тельца,
Которого ты, брат, «разбил» когда-то,
Отдаст. А если скажем, что расплата
Нужна тому, кто ссыт не так, как он,
Взяв меч иль нож, соседа, друга, брата
Убьет!» – «К-как, с-скажешь, б-брат мой А-арон».

5

«Ты в пламени и дыме над Синаем
Возник под звуки грома и трубы.
Хвала тебе, теперь Завет мы знаем
И ничего не просим у судьбы.
Кто были мы? Ничтожные рабы.
А кто теперь? Избранники, герои!
За веру нашу мы стоим горою.
А буде слаб в ней кто-нибудь из нас,
Его укажем, чтобы в сей же час
Ты покарал его своей рукою».

6

«Ну, так добавь в папирус подношений
Шерсть голубую, серебро и медь,
Бараньи кожи, мирру для курений,
Пурпурный оникс. Что еще иметь
Им не положено? В походе ведь
Им ничего не нужно, кроме пики,
Щита, меча. Для подвигов великих
Не нужен им ни оникс, ни виссон...
Но погоди, что там за шум и крики?
Узнай!» – «К-как, с-скажешь, б-брат мой
А-арон».

7

«Стой, Моисей, туда тебе не нужно.
Вернись к Арону и предупреди,
Что, у левитов отобрав оружие,
Сюда ведут восставших их вожди.
И Хошеа Ефремов впереди.
Он только что вернулся из дозора.
Ужасней ничего, не будь я Ором,
Не слыхивал я в жизни: он сказал,
Что в Ханаане воин – стар и мал,
Что в Ханаане крепость – каждый город».

8

«Предатели! Водить бы их в пустыне
Лет сорок, этих трусов и рабов.
Поменьше манны и побольше скиний
И вовсе никаких перепелов.

...Но Хошеа, подлец из подлецов,
Каков? Любимчик твой! Пес недобитый...
Позвать сюда скорей всех именитых
И объявить себя царем! На трон
Взойти, собрав вокруг одних левитов.
Ну как?» – «К-как, с-скажешь, б-брат мой А-арон».

9

«Мед с молоком! Каким проклятым часом
Любой из нас как будто бы ослеп?
В Египте у котлов с бараньим мясом
Сидели мы, в достатке ели хлеб».
«И вот пришел, косноязык, нелеп,
И мы пошли покорно, как бараны,
Чтобы погибнуть поздно или рано».
«Настал конец бараньей слепоты!»
«Сейчас умрешь, пес мадиамский, ты
И братец твой речистый, царь обмана!»

10

«Ну, что, заика, время делать чудо?
Иначе нам с тобой придет конец.
Возьми свой посох – пусть из ниоткуда
Возникнет перед ними сам Творец.
Пускай забьется в страхе сонм сердец.
Давай, заика! Страх им Божий нужен.
Они идут, их страшный круг все уже,
Они идут уже со всех сторон.
Левиты с ними! Что нам делать?! Ну же
Скажи!» – «Молиться, брат мой Аарон».

Бецалель

1

Славный отрок Бецалель,
Божий выбор Моисея,
Лучше взял бы ты свирель,
Языком нащупал щель
И сыграл бы иудеям.
Чтобы звукам в унисон
Все они вострепетали,
Чтобы даже Аарон,
На груди порвав хитон,
Зарыдал, уйдя в печали.

2

Чтоб забыли навсегда,
Как жилось в Египте сыто,
Как вкусна была еда,
Как чиста была вода
И в кувшинах, и в корытах.
Чтоб оставили мечты
О гледичии тенистой,
Чтоб до самой темноты
Копошились, как кроты,
В складках пашни каменистой.

3

Чтоб не покладая рук
Поднимали каждый колос,
Чтоб шумело все вокруг –
Щедрый сад, волнистый луг,

Лес дремучий – в полный голос.
Чтоб с высоких угловых
В небо обращенных башен
Было видно, что в иных
Землях нет лесов таких,
Ни садов, ни рек, ни пашен.

4

Чтобы слава о земле,
Переставшей быть пустыней,
Не слабела, как в золе
Жар, как скарабей в смоле,
Становящейся твердыней.
Чтоб иных земель цари
И иных земель народы,
Что бранились исстари,
Воскурили алтари
Мира, братства и свободы.

5

Чтоб со всех концов земли
К берегам земного рая
Приходили корабли.
Чтобы караваны шли
С кладью, не переставая.
Чтобы всех народов речь,
Как лоза, переплеталась.
Чтоб скучал в чулане меч,
В честь гостей трудилась печь
И была наградой старость.

6

Но берешь ты не свирель
Из певучей птичьей вишни –
У тебя иная цель,
Мудрый отрок Бецалель,
Мастер, призванный Всевышним.
В руки ты берешь резец,
Долото, стамеску, шило.
Чтобы, как сказал Отец,
Иудеям наконец
Неповадно думать было.

7

Чтобы Скиния была,
И Ковчег, и Семисвечник,
Хлеб и утварь для стола,
Жертвенник, и в нем зола,
А над ней дымок колечком.
Чтоб, в священное одет,
Аарон читал из Торы.
Чтобы ели сорок лет
Лишь акриды на обед
Торопливо, будто воры.

8

Чтобы, представляя, как
Ханаанский будет сладок
Мед, твердили: «Подлый враг,
Лучше сам в могилу ляг!»,
Чтоб среди песчаных складок

До кромешной темноты,
Как когда-то в дельте Нила,
Без питья и без еды
Копошились, как кроты,
Роя братские могилы.

9

Чтобы тот, кто духом слаб,
В прах земной валился глухо,
Недостойный, жалкий раб,
Но зато другой стократ
Становился крепче духом.
Чтобы от таких вестей
Вслед за жалким аммореем
Трепетал, как лист, хеттей
И пугал своих детей
Беспощадным иудеем.

10

Чтоб, окрасив Иордан,
Кровь текла легко, как воды,
Заливая Ханаан.
Чтоб иных земель и стран
Покорились им народы.
Чтобы именем Его
Сами жгли и убивали,
Не жалея никого,
Не прощая ничего,
Без унынья и печали.

2014 ГОД

В Шкотово

Берег пустынный Японского моря.
Осень. Залив – полированный стол.
Йодистый воздух еще и просмолен
Кедром, напялившим драный камзол.

Осень. Сложение желтого с красным.
Тени как формулы из теорем.
Если погода не будет ненастной,
Грязь на тропинках просохнет совсем.

Иглами рыжими берег усеян –
Азбукой белок, клестов и ужей.
Зарево рощи в пространстве осеннем.
Астры китайские у гаражей.

Речитативом прибоя со вздохом
Осень читает на память Басё.
Вечер как бабочка. Ночь как эпоха.
Утро как мир, где рождается всё.

Апрельские арабески

1. Вечер

Рельсы рыжие, колеса рыжие,
И закат вдалеке будто ржа.
Солнце в нем апельсином выжатым.
Мимолетный полет стрижа.

Скоро сяду я в электричку.
Буду в ней по земле колесить
И закат, как зажженную спичку,
То и дело к глазам подносить.

Вот он тянется промеж веток,
Словно пламени язычок.
Вечер тает, как сигарета,
Вот остался один огонек.

Вот он, словно околыш фуражки
Милицейской, мелькнул в глубине,
Горький привкус последней затяжки
Подарив на прощание мне.

2. На даче

И снова апрель по сердцу свирель
В орешнике выбирает.
И снова листок – зеленый клинок
На солнце блестит-сверкает.

И птица синица, сестрица весны,
С ветки на ветку скачет –
С ветки осины на ветку сосны, –
Желтый теннисный мячик.

И дачные грядки похожи на корт.
Вот только совсем не прилично без шорт,
А только в заветренной майке
Пугать воробьиные стайки.

...А, может, и мне, притворившись Христом,
Вот так же торчать в огороде пустом,
Крича по ночам что есть мочи:
«Прости, ибо ведаем, Отче»?

3. В Адмиральском сквере

На скамейке в Адмиральском сквере
Двое, словно молодые звери,
Тянутся друг к другу... ближе... ближе...
Как она ему щетину лижет!

Словно шерсть оленю олениха.
В Адмиральском сквере тихо-тихо.
Лист не шелохнется прошлогодний,
И к тому же Вербное сегодня.

Вербное. И в паволоку света
Солнечного все вокруг одето:
ДОФ, и храм, и ГУМ, весь старый город,
И плавкран, со стороны Босфора

В Рог входящий, а потом из Рога
Выходящий, здесь и там дорога,
Рыжий конь, чьи по щербатым плитам
В тишине процокали копыта.

4. Анчар

На месте будущих колосьев
Еще не тронутая зябрь;
И грач, тревожный, как Иосиф,
Глядит в разверзшуюся хлябь;

И капли падают, как зерна,
В раскисший мигом чернозем;
И вот уже ростками сорной,
Как будто падаль, он пронзен;

А по дороге черной катит
Машина, сея мокрый свет;
Как в ожиданье благодати,
Застыл на склоне бересклет;

Окаменевшее растение,
Свинцом пропитанный анчар,
Он думает, что дождь – прощенье,
А это – худшая из кар.

5. На кухне

Сидели мы с тобой на кухне,
Свет не включая. За окном
Так тихо сумерки потухли,
Как будто свечку перед сном

Деревья черные задули.
И наступила тишина,
В которой дождевые пули
Царапали броню окна.

И трепетал обрывок древа
Серебряного, в чьих ветвях
Фонарь был плачущая дева
С лампадой гаснущей в руках.

А мы сидели и молчали,
Томилась на плите еда,
И в телевизоре мелькали
Картины Страшного суда.

6. Спортивная Гавань

Волн нарастающий рокот,
Напоминающий топот.
Словно Спортивную Гавань
Меряет море шагами.

Ровно и монотонно,
Как за колонной колонна.
Как за фалангой фаланга,
Шаг убыстряя на флангах.

Силы незримые копит.
Солнце на кончиках копий.
К шторму готовится, к шторму
Медленно, верно, упорно.

Город столпился на сопках.
Кается, мается в пробках.
Злые, тревожные блики.
Чаек пронзительны крики.

7. На рассвете

Из листьев первых вдоль оград
И цвета яблонь соткан
Весь город, Гефсиманский сад,
Разбросанный по сопкам.

Рассвета бледного над ним
Простерта плащаница.
Усталый, бедный херувим.
Как сладко ему спится!

И ветер веет у щеки,
И форточка открыта,
И крепко спят ученики,
И чаша не испита.

И Золотой сверкает Рог,
И в дымке Русский остров.
И если есть на свете Бог,
То быть счастливым просто.

8. Поздний дождь

В джинсах потертых, высок и патлат,
Вот он шагает, бредет наугад
Городом вербным, весенним.
Вечер. Конец воскресенья.

На Корабельной горят фонари.
Будто запаяны звезды внутри
Перед погрузкой на катер.
Фьють! И кто будет искать их!

След за кормой будто скомканный скотч.
Над головою кромешная ночь.
Брызги соленые жалят.
Позеленели скрижали.

Чайки на бреющем мимо летят.
Руки на камбузе моет Пилат.
Дождь, как тогда, на Голгофе.
Лазарь в каюте пьет кофе.

9. Из Транстрёмера

А солнце вечером, оно со всех сторон:
Из каждого окна, из каждой лужи.
К Светланской приближаясь, трафик уже,
Неповоротливый сверкающий дракон.

А я – одна из крохотных чешуек...
Внезапно солнца красного поток
Сквозь ветровое хлынет, будто сок
Грейпфрутовый. Невольно глаз чешу я

И становлюсь прозрачен. Сквозь меня
Проходят жизни городской картины:
Праздношатаи, вывески, витрины.
Я их выхватываю, будто из огня.

Я должен через весь проехать город,
Чтоб выйти из машины, а потом
Идти, покуда в воздухе ночном
Не вспыхнут звезды, ярче нет которых.

10. Страстная

Я думал: что ж, переживу
Я эту странную Страстную
С ее страстями наяву –
Уеду в сторону лесную,

Уйду куда глаза глядят,
Дорогой успокою сердце.
Но... целый мир сошел во ад,
И некуда отныне деться.

Отныне каждый тополь – зверь
С глазницами пустых скворешен.
И каждый праведник теперь,
Что б ни сказал, навеки грешен.

Войной идет на брата брат
По мирным улицам Одессы,
И люди заживо горят,
И во плоти ликуют бесы.

А где отец? Да на войне

– А где отец? – Да на войне.
– Тогда я подожду, пожалуй.
– Да я разогреть устала.
Садись, поешь немного. – Не.
И поглядел в окно. В окне –
заросший двор, и там, у тына,
о чем-то явор и калина
все время шепчутся. – Ты сам
стрелял сегодня? – По кустам.
Так что душа моя невинна.

Смеркается. На стол свечу
мать ставит, коробком грохочет.
– Да где ж он ходит?! Дело к ночи...
Поешь, сыночек. – Не хочу.
...А явор клонится к плечу
калины в брызгах спелых ягод.
Смеркается. Как будто флягу
трясут, перевернув верх дном,
накрапывает за окном
чуть слышно. – Мама, я прилягу.

Чуть слышно явор слезы льет.
Доносится гусиный гогот.
Выходят гуси на дорогу,
проходят первый поворот,
а там встречает их осот,
встающий во поле полками,
стучащий в небо кулаками,
пока не грянет гром в ответ...

Он спит, устал и не раздет,
во сне играя желваками.

– Вставай, сынок! Вставай – беда.
...Огонь свечи дрожит во мраке,
откуда слышен вой собаки
и где стеной стоит вода,
сверкающая, как слюда,
как будто падает с плотины.
...В дверях стоят, сутуля спины,
и на пол капает с плащей.
– Там, на развилке, где ручей,
нашли его в кустах калины.

Сочиню я город

Сочиню я город,
как стихотворенье.
Пусть в нем будет осень
или воскресенье.

Или, еще лучше,
то и это вместе:
воскресенье, осень,
зимних дней предвестье.

Пусть в нем будут крыши
в пестрых листьях мокрых,
словно в пятнах умбры,
сурика и охры.

Пусть над пешеходом –
каждым – лист кружится.
Будто провожает
человека птица.

«До свиданья, люди, –
машет. – До свиданья».
И стоят пустые
на проспекте зданья.

Улицы пустые,
и дворы, и парки.
... Кто-то напоследок
задержался в арке,

оглянулся кратко
и исчез, растаял,
присоединившись
к человеческой стае.

До свиданья, город!
До свиданья, осень,
зимних дней предвестье,
изморози проседь.

До свиданья, каждый
лист сухой крученный.
Обживайте город,
мною сочиненный...

Фаду для тебя

Любимая, смотри, какое небо!
Сияющее, в дымке голубой.
И если бы я человеком не был,
Я был бы этим небом над тобой.

Весь мир невероятный обнимая,
Как небосводу одному дано,
В объятиях своих, моя родная,
Я лишь тебя держал бы все равно.

И ты б сказала: «Я не знаю, кто ты.
Быть может, только сон в ночной тиши.
Но, как у птицы крылья для полета,
Теперь есть крылья у моей души».

Содержание

*Александр Ситницкий. О поэте Куликове, дождях,
грозах и откровениях.....*4

ВЗРОСЛЫЙ МИР

Человек меняет города.....	19
Начинает душа.....	20
Вильонская баллада.....	21
Человек устал спешить.....	22
Читая «Спун-ривер таймс»	23
Апокалипсис завтра.....	25
Письмо тому, кто не спит.....	26
Когда человек кушает варенье.....	27
Все взрослого пугает.....	28
Запах моря.....	29
Когда поэт стихов не пишет.....	31
Письмо в старинном стиле.....	32
Еще вчера нам было жарко.....	33
Как долго тянется зима.....	34
Песенка для беловшеек.....	35
Письмо Владимиру Тыцких	36
Разговор с камнем, улиткой, песком, рыбой и яблоком.....	37
На смерть поэта.....	38
Латышские мотивы, или Неотправленные письма Клаву Элсбергу.....	40
Из Клава Элсберга	42
Войдя	43
Мотив Шукшина.....	44
Голова Риги.....	46
Зоологический сад.....	47
Залве.....	49
Вечер.....	50
«Пробираюсь сквозь "Огня не рвазводить"».....	51
Осень изначальная.....	55
Осенний регтайм.....	56
Случайное желание.....	63

Ледяной блюз.....	63
Желание снега.....	65
Чайный блюз.....	66
Утро — вечер.....	67

ВТОРАЯ РЕЧКА

Вторая Речка — Амурский Залив.....	71
На трассе между Санаторной и Океанской.....	72
На Санаторной.....	74
Небо над Санаторной.....	75
Площадь Луговая.....	77
Закат над Моргородком.....	79
Я сам вечером в воображаемой Византии.....	80
Ночной регтайм.....	82
Спортивная Гавань. Вечер	88
Соловей-ключ.....	89
Амурский залив.....	90
Ночь. Начитавшись Бродского.....	91
Встреча на Некрасовской	94
14-й км. Похороны Турецкого.....	96
Вторая речка. Полночь.....	97
Вторая речка. Через 3 дня.....	98
Облака над Второй речкой.....	99
С рынка на рынок.....	100
Соловей в Моргородке.....	102
Гроза над Второй речкой.....	104
Осень не за горами.....	106

ФАБУЛА РАЗА

Когда жизнь ясна в своей основе.....	109
Ах, этот лес, в котором зыбко.....	111
...и быть застигнутым дождем.....	112
У каждого.....	113
В переходе.....	114
На эскалаторе в торговом центре.....	115
В кафе «Приют убогого чухонца»	117
Глядя в окно автобуса на пробегающий мимо заснеженный пейзаж.....	119

За полчаса до ужина, уже поставив «росинанта» в гараж.....	121
У окна на сон грядущий.....	123
Вторая Речка.....	125

АРАБЕСКИ

На Голгофу.....	129
Волхвы.....	130
Ясень.....	131
Из Пессоа.....	132
Бог.....	133
Море.....	134
Про Петрова.....	135
К морю.....	136
Роща.....	137
День.....	138
Про Джона.....	139
Из Одена.....	140
Пони.....	141
Соната	142
С бохайского.....	143
Дочки-матери.....	144
Клен.....	146
Из Фроста.....	147
Россини.....	148
Декабрь-художник.....	149
Снежинки.....	150
Из Тарковского.....	151
Простуда.....	152
Оттепель.....	153
Графика.....	154
Нэцкэ	155
Про Куросаву.....	156

ДОНАШИВАЯ ЖИЗНЬ

Дорога в Дальнегорск и обратно с чтением книжек Лысенко и Бродского.....	159
Перечитывая Давида Самойлова, одного из последних импрессионистов.....	163
Дитя обиделось.....	166

Про Лену Маркову	168
На самом деле просто все до неприличия.....	170
Развивая Бродского.....	171
Диссиденты	176
Электричества там не было	178
Донашивая жизнь.....	179
Владивосток в 2010 году.Восемь офортов.....	180

ВЕРЛИОКА

Явление Верлиоки.....	193
Иванов, Семенов, Борменталь	194
Завещание.....	196
Ночная история.....	198
О Толе Кольцове, художнике и поэте	200
Мадругада.....	212
После дождя.....	213
Северокорейская ракета	214
Закат сатанел.....	216
Проклятие	220
Музыкантик, Загорелый, Кандидатка.....	221
На улице Лескова.....	224
Явление Верлиоки 2.0	227
Майская баллада.....	229
Душа на рассвете.....	234
Пророк.....	237

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Летние дожди.....	243
Японский бог.....	244
Вот лечу я в самолете.....	245
Играет доктор Марешаль.....	247
На рассвете.....	248
На закате.....	249
Развивая Сарاماго и Левитанского.....	250

Велесовы арабески

1. Листва.....	254
2. Увертюра.....	254
3. Плащ.....	255
4. Дождь.....	256
5. Кстати.....	256

6. Гроза.....	257
7. В деревне.....	258
8. Через Артем.....	258
9. Из Альберту Каэйру.....	259
10. Манга.....	260
Из пастушьей сумки.....	261
Косой дождь.....	268
Прямой дождь.....	270
Прогулка доктора Марешаля.....	272
Май мотыльком.....	273
Еще раз о Моцарте и Сальери	274
Совсем простенькое стихотворение.....	276
Сентябрьские арпеджески	
1. В крематорий.....	277
2. Перед тайфуном.....	277
3. Пан.....	278
4. Под свирель.....	279
5. С Маяковским.....	279
6. Суббота.....	280
7. Воспоминание.....	281
8. Поэзия.....	281
9. Из Хини	282
10. Сентябрь.....	283
Анахориш, Богланд, Клэр.....	284
Памяти Антонио Сальери.....	288
И снова доктор Марешаль.....	291
В духе Пессоа.....	293
Наше дело.....	294
ШАДРЕШИ	
Шадреш поздней осени	297
Шадреш предновогодний.....	300
Шадреш вертепа.....	303
Шадреш оборотня.....	306
Шадреш ночного снега.....	309
Шадреш ранней весны.....	312
Шадреш имени Юзефа Комуныки.....	315
Шадреш первой любви.....	318

КОРОТКИЕ ШАДРЕШИ

Дождь идет.....	323
Осень у моря.....	324
Клены.....	325
Пейзаж с ветром.....	326
Пейзаж с «Красиным»	327
Пейзаж со снегом.....	328
Пейзаж с миртом.....	329
Седанка.....	330
Оттепель	331
Один.....	332
В библиотеке.....	333
Вот дерево.....	334

СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА

Катрены октябрю.....	337
Катрены на приход тайфуна Болавен.....	339
Регтаймы октября.....	341
Терцеты ноября.....	344
Терцеты белой трясогузки.....	346
Снегу	348
Мартовские октеты.....	351
Октеты клеста.....	352
Рэндзю на тему стихов Роберта Блая.....	353
Катрены Царского села.....	363
Катрены соляных садов	365
Танго-сюита имени Бориса Поплавского	
1. Черная свадьба.....	367
2. Падший ангел.....	368
3. Прощание с Мореллой.....	369
4. Смерть Бучеры.....	371
Дождю.....	374

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОИСЕЯ

Святая Варвара.....	379
Авраам и Сарра.....	383
Караваджо.....	387
Сон Иакова.....	391

Павел в Коринфе.....	395
Возвращение Моисея.....	399
Моисей и Аарон.....	403
Бецалель	407
2014 ГОД	
В Шкотово.....	413
Апрельские арабески	
1. Вечер.....	414
2. На даче.....	414
3. В Адмиральском сквере.....	415
4. Анчар.....	416
5. На кухне.....	416
6. Спортивная Гавань	417
7. На рассвете.....	418
8. Поздний дождь.....	418
9. Из Транстрёмера.....	419
10. Страстная.....	420
А где отец? Да на войне.....	421
Сочиню я город.....	423
Фаду для тебя.....	425

**В литературной серии «Книжная Полка Поэта»
в 2015 году изданы поэтические сборники:**

Михаил ДЫНКИН. «Мы умерли сто лет тому вперед»

Александр ГАБРИЭЛЬ. «По прозванию человеки»

Сева ГУРЕВИЧ. «Дневниковые записи»

Александр СПАРБЕР. «Трава-вода»

Владимир ГУТКОВСКИЙ. «Жизнь рассчитана с запасом»

Александр КУЛИКОВ. «Соловей-ключ»

